



ОГОНЁК
№ 17 АПРЕЛЬ 1966
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»



А как они видят свой проспект?

ОГОНЁК	Пролетарии всех стран, соединяйтесь!	
	ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННО-	44-й год издания
	ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ЛИТЕРАТУРНО-	№ 17 (2026)
	ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ	24 АПРЕЛЯ 1966

ЧЕЛОВЕ

Волгоград! А ты и в самом деле хороша. Волнуется у окна операционной Иван Филиппович, и вместе с ним волнуется профессор А. М. Водовозов, вернувшийся ему зрение и весь этот красочный мир.

Волгоград. Проспект Ленина.





КВИДИТ ГОРОД



Чудом представляется этот город, распростёршийся на десятки километров вдоль великой русской реки, с многоэтажным своим домом, с широкими, просторными улицами-проспектами, скверами и парками. У здешних людей какая-то особенная стать, некая радующая глаз и сердце горделивость и уверенность.

Когда-то этот город числился в разряде уездных, приписан был к Саратовской губернии, славился своими мельницами и пристанями, хлебной торговлей и лесоплавом. Были в нём и немаловажные заводы, жил рабочий народ, давший впоследствии революционной России много верных борцов за proletарное дело. Именовался он в

И пошёл шагать Иван Филиппович от того самого дома, который отстоял в огне.

Фото Дм. ВАЛЬТЕРМАНЦА.



ту пору Царицын, воева, впрочем, не потому, что заезжали сюда царицы, иногда их здесь отроду не бывало, а потому, что протекает тут речка Царица, в старину именовавшаяся Сарису — желтая вода. В 1918 году на смерть стоял красный Царицын, отбиваясь от войск атамана Краснова, а потом, в 1919-м, — от денкинцев, и, хоть взял его не на долгое время барон Врангаль, вскоре и он безвозвратно покатился назад и катился до самого Крыма.

Оборона красного Царицына вошла яркой страницей в историю гражданской войны, но это была только предистория города. Прошло двадцать с небольшим лет, еще живы были и не состарились герои Царицынской обороны, а на красавец город, при Советской власти выросший во много раз, грянула новая беда: к его стенам подступили гитлеровские полчища.

Стеной, впрочем, никаких не было, стеной стали люди, и стена эта оказалась непробиваемой! Тысячи тонн металла были обрушены на город, пылали не только дома и улицы, но и сама Волга, однако защитники его устояли. Армия фельдмаршала Паулюса, сокрушившая до этого несколько европейских государств, завязла в развалинах Сталинграда. Смертный бой шел за каждый квартал, за каждый дом, и каждый дом стрелял и, умирая, продолжал стрелять. Здесь иссякла вражья сила, здесь была захлестнута петля на шее лютого врага, и именно тут был нанесен смертельный удар гитлеризму.

Бушующее пламя великой битвы на Волге осветило советскому солдату путь на Берлин, путь, по которому он шел, и пришел, и принес на своих славных знаменах Победу!

...Если вы летним вечером отправитесь гулять в любой из многочисленных районов города, то увидите, как под вашими ногами по особому блеску серебра гравий дороги — он перемешан с осколками металла и стекла. Земля этого города пропитана насквозь и кровью человеческой.

Недавно один из жителей Волгограда, Иван Филиппович Афанасьев, после 20-летней слепоты впервые увидел свой город. Он защищал его в 1942 году, сражаясь в развалинах, познал радость победы, участвовал и в дальнейших боях, но потом ранения и контузия дали о себе знать — потерял зрение. Думал, что навсегда, но врачи исцелили его.

Иван Филиппович вышел из больницы на проспект Ленина. Великолепный, новый, ранее никогда не знаемый город раскрылся перед ним. Он шел, но ничего не узнавал. Он добрался, расспрашивая прохожих, до Дома Павлова, который тогда оборонял, и на мемориальной доске увидел свою фамилию. Он прочитал на стене дома надпись: «38 дней в огне», — вспомнил своих товарищей, погибших здесь, и скупые мужские слезы блеснули у него в глазах. Он остановился у величественного памятника Ленину и долго сидел возле него в глубоком раздумье.

Огромный город каждый день раздвигал перед ним все новые и новые красоты. Иван Филиппович Афанасьев побывал у Волжской ГЭС, любовался новыми заводами, возникшими, как сказочный феникс, из пепла и руин. Он видел прекрасные институты, школы, театры, клубы, встречался и беседовал с сотнями людей, и каждый прожитый день был полон для него светлой радости познания. Афанасьев, разумеется, посетил аллею Героев и, сняв шапку, прочитал все надписи на памятнике. Огонь вечной славы, полыхающий на аллее, снова ожег ему душу скорбью, печалью и вместе с тем наполнил сердце чувством гордости за советского человека. Неужто это тот самый город, в котором все пылало, горело и рушилось?

Большой рабочий город восстановлен и утвержден как символ победы, как памятник борцам — смертью они попрали смерть, — как свидетельство несокрушимой мощи советского народа.

Человек идет по проспекту, простой русский человек Иван Филиппович Афанасьев. Двадцать лет он жил во мраке и теперь никак не может наглядеться на красоту вокруг себя, созданную людьми для людей.

И. ГУММЕР,
Н. НИКОЛАЕВ

Трудящиеся Советского Союза! Все силы на осуществление решений XXIII съезда КПСС, на выполнение пятилетнего плана!

Вперед к новым победам в борьбе за торжество коммунизма в нашей стране!

Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1966 года.

МАРШРУТ УКАЗАН ПЯТИЛЕТКОМ

Белые гектары

Ия МЕСХИ

Фото И. ТУНКЕЛЯ.

«АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА.

...Обеспечить создание крупной базы по выращиванию ранних овощей».

Из Директива XXIII съезда КПСС по пятилетнему плану.



В совхозе «Правда» рашли поставит под пленкой калифорнийские установки.

Мы приехали на юг Каспия, в Ленкорань, где никогда не бывает зимы. Где круглый год земля горит вечным зеленым огнем, и попали в царство Белой Пленки. Это была самая обыкновенная полиэтиленовая пленка, которая нам, горожанам, предстала лишь в образе маленьких хозяйственных муляев. Здесь же она растстается на полях (не то снег, не то озеро) на целые километры, поблескивая под солнцем от порывов слабого ветра.

...Белая пленка натянута на легкие каркасы из железных прутьев, образуя маленькие и большие тоннели. Мы вошли в большой тоннель. В лицо ударила теплая волна. Она шла от электронаторифера. С потолка свисали термометры, на дощечке было написано: «Земля № 1, звеньевая Диласар Алиева. Сорт помидоров — донецкая. Площадь — 300 кв. м. Количество растений — 1 600 штук».

На дворе стоял март, а здесь висели первые зеленые, с грецкий орех, плоды. Черноглазая Диласар, работница совхоза «Правда», хлопотала тут же, у грядок. Мы ее спросили:

— Сколько получите помидоров в своем тоннеле?
— Не меньше двух тонн.
— Когда начнете их снимать?
— В мае начале и в мае кончу.
В мае самые ранние помидоры. Цена на помидоры в эту пору са-

мая высокая, их сдают государству по рублю десять копеек за килограмм. А дальше каждые две недели цена снижается на десять копеек. Вот почему в таком теплом крае понадобились еще и теплицы. Двадцать копеек выгадывает Диласар на каждом килограмме! На целый месяц обгонит она «напленочных помидорщиков»!

Вскоре мы привыкли к этому языку. Здесь говорят: «пленочный гектар», «пленочный урожай», «пленочный доход»... Летосчисление делится здесь на два периода — до и после пленки.

До пленки было около Ленкорани заболоченное место Марцо, 13 тысяч гектаров. Конечно, можно было стрелить дичь, но больше пользы никакой. Прорыли каналы, спустили болотную воду в Каспий, отвели в сторону мелкие, вялые ручьи, высушили Марцо и поставили первые, пока еще самые первые, белые тоннели.

Что же произошло? Как совершился столь быстрый сдвиг в хозяйствах южных земель? Коротко можно ответить так: юг решил основательно амещаться в рацион питания самарян. Подробные нам объяснили в Баку, в Государственном производственном комитате овощеводства Совета Министров Азербайджанской ССР.

— В магазинах Москвы и Ленинграда и других больших российских городов очень мало ран-

них овощей, — сказал председатель комитета Гасан Алиевич Сендов. — Теплицы там не помогают. Много ли в них вырастит? А на юге Азербайджана есть богатейшие возможности круглый год давать цветную капусту, с апреля получать белокачанную капусту и огурцы, помидоры — в мае и первой половине июня. Надо было только организовать овощное хозяйство в крупных масштабах и еще немножечко помочь земле теплом.

В 1963 году Ленкорань отправила на север 27 600 тонн свежих овощей, в 1964 году их было отправлено вдвое больше, в 1965-м еще вдвое больше, а в этом году должно быть отправлено 120 тысяч тонн.

Темпы высокие. Встало много проблем, среди которых самая острая: как побыстрее довести выращенное потребителю. Прогнозируют совместно с венгерскими друзьями два крупнейших овощных комбината, которые начнут работать в Ленкоранской зоне со следующего года. Не менее важная задача — изготовление специальной пленочной тары для перевозки ранних овощей грузовыми самолетами. В конце пятилетия юг Азербайджана даст северу 500 тысяч тонн капусты, огурцов и помидоров.

Вот какая приятная перспектива у северян с появлением белых гектаров на ленкоранских полях!

Белая пленка натянута на легкие каркасы...



НА РАЗНЫЕ ВКУСЫ

С. ЛОСЕВ, заместитель начальника планово-экономического управления Министерства пищевой промышленности СССР:

— Спросите любую хозяйку, можно ли обойтись без картофеля? «Конечно, нет!» — ответит она и с увлечением начнет перечислять старые и новые способы его приготовления. И обязательно упомянет и о хрустящем картофеле, и о свежемороженом, гарнирном, и о сухом картофельном пюре. Все эти «картофельные новшества» появились недавно, но уже пришли к столу во многих семьях.

И еще одна новинка: в ближайшее время поступят в продажу картофельные крекеры — очень калорийные и вкусные. Их производство освоено в Москве.

Кукуруза — тоже распространённый продукт. И здесь свои новинки: кукурузные палочки, воздушные зерна, хлопья, — они нравятся взрослым и детям. И поэтому в 1970 году мы намерены увеличить выпуск всех таких продуктов из картофеля и кукурузы в десять раз.

Очень понравился покупателям растворимый кофе. В прошлом

В Директивах XIII съезда КПСС по пятилетнему плану записано: «Увеличить производство продукции пищевой промышленности примерно в 1,4 раза. Повысить питательные и вкусовые свойства продуктов, расширить их ассортимент...»

Особое внимание обратить на широкое развитие производства продуктов детского питания...»

Наш корреспондент побывал в двух министерствах — пищевой промышленности и мясной и молочной промышленности — и попросил рассказать о новинках, которые предложат предприятия.

году такого кофе мы выпустили всего 350 тонн. Спрос на него превышает предложение. Кофе этот очень популярен. Он не только быстро растворяется, но и совсем не оставляет осадка. За несколько лет его производство должно увеличиться в 5—6 раз.

Скоро появится и быстрорастворимый чай. Специалисты уже нашли формулу такого чая, и сейчас определяются планы по его выпуску.

Кофе — это для взрослых. А как мы позаботились о детях? И для них подготовлены вкусные и питательные продукты: плодовоовощные консервы, диетическая мука из риса, гречки, сухие питательные смеси.

К. КОРНЕВ, начальник планово-экономического управления Министерства мясной и молочной промышленности СССР:

— При нашем министерстве создано всесоюзное объединение, которое занимается только продуктами детского питания. Изготовление продуктов для малышей — дело сложное и деликатное. Давно прошли времена, когда люди полагали, что ребятам



Если вы еще не пробовали сырокопченую колбасу с маленькими крапинками шпига, отведайте, не пожалеете: вкусно! Колбаса с измельченным шпиком изготовлена на Экспериментальном заводе консервно-колбасных кулинарных изделий при Всесоюзном научно-исследовательском институте мясной промышленности. И это не единственная новинка завода и института. Уже приняты промышленностью копчено-запеченные изделия из свиных — приятные на вкус, ароматные. На снимке: заведующая производством Экспериментального завода Алла Андреевна Собянина проверяет качество копчено-запеченной свиной колбасы.

Фото Г. Санько.

вполне хватает наши да молока. Молоко-то, им, конечно, необходимо. Но нужно еще, чтобы оно было и вкусное и питательное. Самым маленьким мы предлагаем лактон, ребятам постарше — сухое быстрорастворимое молоко или сухие кисломолочные продукты. Изобрели для ребят и специальные мясные блюда — сосиски-малютки, мясное пюре, паштет в мелкой расфасовке. Вот всем этим и занимается новое объединение.

Есть у нас еще немало недостатков. О них упоминал на съезде партии в Отчетном докладе ЦК КПСС Л. Н. Брежнев. В частности, при достаточных ресурсах молока у нас мало вырабатывается молочнокислых изделий, сыров. Предстоит еще много поработать, что-

бы справиться с этими недостатками.

Но сейчас мы и тут предлагаем кое-какие новинки. Вот, например, все привыкли к тому, что у сыра должна быть корка. А ведь это невыгодно: восемь — десять процентов веса приходится именно на корку. Нельзя ли обойтись без такой «нагрузки»? Оказывается, можно. Создан новый вид сыра, у которого корку заменяет тонкая синтетическая пленка. Сравнительно недавно появился еще один новый сыр — домашний. На вид он напоминает творог. Делается из обезжиренного молока. Попробуйте его, и вы убедитесь, что по вкусу он не уступает популярному российскому. А стоит всего 80 копеек килограмм...

Наиболее быстро развивать производство товаров, пользующихся повышенным спросом у населения...

Значительно улучшить качество и внешний вид одежды, обуви и других изделий, постоянно расширять и обновлять ассортимент, фасоны и модели товаров народного потребления.

Из Директив XIII съезда КПСС по пятилетнему плану

ИНТЕРВЬЮ С ЯРМАРКИ НОВИНОК

В Эстонии есть хорошая традиция — заниматься изделиями легкой промышленности всерьез, углубленно и со вкусом. Дважды в год Министерство легкой промышленности ЭССР и Эстонская база торговли готовой одеждой устраивают в Таллине широкие смотр-изделий трикотажной и швейной промышленности. Эти смотры с одинаковым успехом можно назвать и выставкой образцов, и демонстрацией мод, и ярмаркой, где заключаются торговые договоры.

Открытая на днях такая выставка-ярмарка проходит под девизом: «Выполним решения съезда партии, дадим населению много и отличных товаров!»

Наш корреспондент Н. Храброва беседовала с участниками выставки.

Б. ЛЕВИН, заместитель директора Эстонской республиканской базы торговли готовой одеждой:

— Не без волнения выходят на суд заказчиков швейная фабрика имени Клемента, трикотажная фабрика «Марат», Валгаская фабрика мужских пальто, Пярнуская фабрика дамской верхней одежды и многие другие наши предприятия.

Большинство представленных моделей — а их 400 — новинки. Торговые организации республики, а также гости из Латвии и Литвы всласки одобряют такие выставки-ярмарки. Об этом свидетельствует самый объективный товарищ — рубль. На предыдущей, осенней выставке-ярмарке было заключено договоров на 30 миллионов рублей. Теперь, судя по предварительным заявлениям, эта сумма увеличится еще на 5 миллионов.

ГУЯРДО НЕЙМАН, коммерческий директор Таллинской швейной фабрики имени Клемента:

— Коллектив нашей фабрики сделал немало для того, чтобы в магазинах появились в изобилии товары, которые раньше были дефицитными, — я имею в виду женские платья и мужские сорочки. Мы показываем сейчас платья новых моделей, разработанные нашими художниками, так и художниками Дома мод; мужские сорочки улучшенного качества, сорочки с твердыми воротниками и вечерними костюмам — воротники здесь не портятся от частых стирок; плащи типа «Болонья» из непромокаемых синтетических материалов хорошего качества.

ХЕЛЬГА МАРАНИН, главный художник Таллинского Дома мод:

— Много моделей, привезенных фабриками, изготовлены по эскизам наших художников. Но есть у нас и нечто новое, о которой, думаю, приятно будет узнать покупателям: мы перестали быть только теоретиками моды. В этом году мы отправим в магазины республики и свои собственные изделия. Полагаю, что наши женщины больше не будут жаловаться на недостаток и однообразие шпиг: мы выпустили их 40 тысяч, и на все вкусы.



У стенда Таллинского Дома мод.

АЙНО КЫВАМЕЕС, старший инженер Министерства коммунального хозяйства:

— Пятнадцать комбинатов бытового обслуживания показывают на выставке-ярмарке шерстяные кофты, сантеры, джемперы и пуловеры, изготовленные на вязальных аппаратах. Нужно отметить: на этот раз значительно улучшилось качество вязки, чище и ярче стали расцветки.

ЭЛЬМА МИТТ, начальник цеха Пярнуской швейной фабрики:

— Мы привезли в Таллин 89 моделей женских шуб, демисезонных пальто, пальто из искусственной кожи, блузок, детских спортивных костюмов. И все — новинки. Таков наш ответ на решения съезда партии.



СИРИЙСКИЕ ГОСТИ В МОСКВЕ

По приглашению Советского правительства 18 апреля в Москву прибыл с официальным визитом Премьер-Министр Сирийской Арабской Республики Юсеф Зуэйи. На Внуковском аэродроме столицы высокого гостя и его спутников встречали Председатель Совета Министров СССР А. Н. Косыгин и другие официальные лица, представляли трудящихся столицы.

В этот же день в посольстве Сирийской Арабской Республики в Москве был устроен прием по случаю Дня национального праздника, совпадающего в этом году с 20-летием провозглашения независимости республики. На приеме присутствовали Председатель Совета Министров СССР А. Н. Косыгин и Премьер-Министр Сирийской Арабской Республики Юсеф Зуэйи.

19 апреля в Кремле состоялась встреча и переговоры Председателя Совета Министров СССР А. Н. Косыгина с Премьер-Министром Сирийской Арабской Республики Юсефом Зуэйном.

На снимке: встреча в Кремле.

Фото А. Устинова.



По всему миру проходят демонстрации протеста против американской агрессии во Вьетнаме. Это демонстрация в Риме. На транспарантах написано: «Янки, убирайтесь из Вьетнама!»

ФОТО ГЛОБУС ОГОНЕК

Хронический кризис сбыта угля в ФРГ тяжело сказывается на положении шахтеров. В 1963 году работу потеряли 21 400 человек. В наступившем году запланировано закрыть еще 14 шахт и уволить еще десяти тысяч горняков. Неуверенность в своем завтрашнем дне принуждает шахтеров ФРГ проводить предупредительные забастовки. Недавно по призыву профсоюзов бастовало более 250 тысяч шахтеров.



МАТЭ ЗАЛКА— НИКОЛАЮ ОСТРОВСКОМУ

Исполнилось семьдесят лет со дня рождения венгерского писателя Матэ Залки, легендарного генерала Лукача, отдавшего свою жизнь за демократическую Испанию. Наш народ бережно хранит в памяти имя этого бесстрашного, веселого, обаятельного человека.

Известно, что Матэ Залка был дружен с Николаем Островским, встречался с ним и переписывался. Впервые на русском языке полностью публикуется письмо Матэ Залки автору бессмертной книги «Как закалялась сталь».

Москва, 28.11.35.

Дорогой Николай!

Наша переписка оборвалась. Что ты не пишешь, это понятно, но почему я перестал писать? Это надо выяснить. Сегодня я подвараг себя допросу — допросу строгому и пристрастному, — и произошедшее

меня следующий диалог с самим собой:

— Залка, почему вы не пишете Островскому в последнее время? Молчание. Залка смотрит в землю. Ему неловко. Он проводит правой рукой по небритому подбородку и, сопя, молчит.

— Видите ли... — начинает он и умолкает.

Допрашивающий не торопит, он относится к Залке не враждебно, скорее дружелюбно. Пусть человек подумает, суммирует и откровенно, прямо, чистосердечно выскажет все, что думает о своем нехорошем поступке.

— И... да! Я, видите ли, всегда считал себя немного виноватым перед Островским. Ведь мы с ним встретились впервые на страницах «Молодой гвардии», где он печатал «Как закалялась сталь», а я — свои «Нометы». В то время Аннушка Каравзев несколько раз просила меня: «Давай, Матэ, поедим к Островскому. Он интересуется тобой, читает твой роман, и ему очень нравится. Потом, Матэ, надо помочь Островскому в жилищном отношении. Ведь ты строишь дом, дом писателей». Я обещал Аннушке Каравзевой навестить Островского. Два раза уже почти собрался, да в последнюю минуту то Аннушку в ЦК вызвали, то меня задержали неотложные дела. Так в жесткой московской суете и не посетил я Островского. Так и в жилищном азарте не подумал я о товарище. И так Островский уехал в Сочи, где мы встретились с ним только в 1933 году, когда я лечился после своего автомобильного «караμβоля».

И... тогда я в первый раз зашел на Ореховую улицу, я испытывал чувство стыда. Да, стыда. Но Николай встретил меня хорошо, тепло, без упреков.

Николай и в первый раз говорил, что скучает по Москве. Говорил о том, что в ЦК товарищи Саятанов, Горшенин и другие обещали ему квартиру, но Моссовет что-то тишет.

Наша первая встреча с Николаем не была знакомством. Это была встреча давно знающих друг друга близких друзей, и мы с первого слова как бы продолжили давно начатый и незаконченный разговор.

Ушел я от Островского, как уходит провинившийся комсомолец от боевого наряда, который вместе с пробором встретил его дружеским разговором. Уходя от него, я чувствовал себя еще более виноватым, но простил себя вину при условии полного исправления упущенного.

Впечатление, которое произвела на меня Островский, можно назвать резко контрастным. И главным образом оно было ободряющим. То, что Николай говорит, что он разбит, не видит и т. д. — все это внешнее. Сущность: это сильный, доблестный парень, боец, да, в нем еще еще чувствуется красноармеец. Он полон жадностью к жизни и любовью к тому, что творится вокруг. А то, что физически он таков... это кажется даже ерундой, атрибутом, правдой, страшноватым, но преодолимым, временным и безусловно не окончательным.

...Когда на меня нахлынут чувства, я с большим трудом сдерживаю слезы.

Был ясный вечер, когда я ушел от Островского. На Ореховой улице на меня бросилась хозяйская собака, и вместо того, чтобы ударить ее, я протянул к ней руку. Животное почувствовало искренность моей ласки и подошло ко мне. Я ласкал собаку и думал: «Какой цельный человек Николай Островский! И отчего это он таков?»

Вспомнилась мне фронтовая братва, минники, пахота... — люди, обстрелянные во многих боях, лю-



Недавно исполнилась 21-я годовщина подписания Договора о дружбе, взаимной помощи и пословенном сотрудничестве между Советским Союзом и Польской Народной Республикой. Взаимовыгодное сотрудничество способствует быстрому развитию экономики стран социалистического лагеря. Польша вышла на одно из ведущих мест в мире по производству роликовых подшипников. Только завод в Познани выпускает в год более четырех миллионов подшипников различных типов и размеров.

На снимке: один из образцов продукции Познанского завода.



7 самолетов и 23 вертолета было разбито и повреждено в результате минометного шквала, который внезапно обрушился на аэропорт Тансонхат вьетнамские патриоты. Сгорели большие запасы жидкого горючего.

Так готовят американских солдат к «перенесению трудностей в Южном Вьетнаме».



Этот предмет — зловещая американская авиабомба, которую после долгих поисков удалось обнаружить у берегов Испании. Невестные, было ли повреждено ядерное устройство, представляющее собой серьезную опасность. Кроме того, американские бомбардировщики, летающие над странами Западной Европы со смертоносным грузом, не гарантированы от новых подобных катастроф, способных причинить людям огромное несчастье.

Домин художника Висента Ван Гога оно-ло Монса (Бельгия) пришел в детство. Тщетно зывают любители живописи и властям и богатым меценатам в надежде спасти его от полного разрушения.



Это 85-летний художник из ФРГ Карл Фишер. У него есть и руки и ноги. Но рисует он ртом. Именно поэтому он стал знаменит. Недавно Карл Фишер принял участие в международной выставке, организованной во Франкфурте-на-Майне, где были представлены работы художников, рисующих с помощью рта и ног.

ди, которые чувствуют верный локоть друг друга в опасности, люди, съевшие вместе пуд соли боевой дружбы.

Этот коллектив был первой школой Николая. Мальчик попал в компанию взрослых, обращавшихся к ним, как к равным. И каких взрослых! И в чем они сравнивали с собой парнишку? Он оказался «отчаянной головешкой», то есть общим любимцем.

И когда он попал в другую среду — послевоенный комсомол, — то был уже «боевым». Но дорогой ценой был куплен его авторитет и первая складка около рта.

Повелю на меня от Николая не-возвратным слезным прошлым. Лаская пса, я удиривал слезы, так был растроган. Я почувствовал в Островском то, что делает больше-инка великим.

С этого дня я стал бывать у Николая ежедневно и следила только за тем, чтобы не надоело ему.

В то время мы еще испытывали повседневные затруднения нашей великой стройки. Николай был устроен плохо, с питанием его было нелегко. Вызвались мы с Александром Серафимовичем перегово-рять с уполномоченным ЦИКа по Сочи тов. Метелевым о том, чтобы прикрепить Николая на снабжение к ресторану «Ривьера». Выслушал меня товарищ Метелев (т. Серафимович не мог быть, так как упол-номоченный ЦИКа несильно неде-ля не мог удосужиться принять нас).

Выслушал товарищ Метелев, что вот, мол, больной писатель, комсомолец и т. д. Может быть, товарищ уполномоченный ЦИКа и неплохой человек, может быть, он любит детей, любит цветы, может быть, он очень крупный работ-ник, — но пусть он припомнит мой

разговор с ним. В беседе с ним я чувствовал себя, как жалкий попрошайка, чувствовал всю ничто-ность своего писательского «авто-ритета» и, когда вышел из его кабинета, все время оглядывался: не выпустили ли на меня собак.

На другой день в неслазых сло-вах я пытался передать Островско-му результаты моего неудачного ходатайства, но он улыбнулся и махнул рукой.

— Ну, его, барина, к шути. Не понял он тебя, ну и не надо.

Расстался мы с Островским осенью 1933 года. Больно больно-ли меня его слова:

— Хочется в Москву, Матэ, ведь мне осталось немного лет. Хочется в Москву.

В Москве мы с Аннушкой Кара-зевой и Мариою Колосовым за-ново взяли за «жилищный вопрос». Ходил я в Моссовет с петициями, ходил в ЦК комсомола. Ни Салтанов, ни Горшенкин меня не смогли принять. На мои назойливые звон-ки однажды один из секретарей мне прямо сказал:

— Чего вы, товарищ Залка, при-стаете к нам с этим Островским! Мы жилищными делами не ведаем. Я не остался в долгу перед этим молодым человеком, но вопрос о квартире Островского так и не был разрешен.

А потом пришла «Правда». Никогда в жизни ни одна газета мне так не импонировала, как на-ша «Правда», но на этот раз я был просто потрясен. Островский на-онец был открыт. Отырыт не как Американа, не как Северный полюс, а как торжество мужества нашей страны, нашего советского народа, нашего поколения.

Я получил от Николая письмо, в котором он растроганно писал о

посещении товарища Петровского. Григорий Иванович поцеловал Островского и сказал: «Продолжай жить и зажигай сердца!» Эти слова Николай принял, как девиз, и с восхищением писал мне об этом.

Потом уже был пленум горкома Сочи на квартире «писателя Ост-ровского», и этот «инополисный» пленум снимали для прессы. Мож-ет быть, уполномоченный ЦИКа по Сочи тоже посетил товарища Островского...

В то время я писал Николаю, что до Моссовета еще не дошло, что так глубоко дошло до масс. Массы реагировала по-своему: она нашла в Островском символ своего муже-ства и засыпала Николая выраже-ниями своего восторга. А жилищ-ный отдел Моссовета потерял кол-лективное заявление писателей с просьбой предоставить квартиру Островскому.

...Допрашивающий внимательно выслушал взволнованную и немно-го несвязную речь Залки.

— Ну и дальше? Ваша переписка кончилась?

— Нет, когда Николай наградили орденом Ленина, я послал ему телеграмму. Я воскликнул: «Есть на свете Москва!!!» Я послал теле-грамму, а линовал. Тогда сотруд-ник «Литгазеты» пристал ко мне, чтобы я написал об Островском. Я отказывался, писать не хотелось, хотелось радоваться без пера и чернильницы, но продолжали при-ставать. Я написала. Получилась «статья», и плохал статей. То, что я писал в ней от сердца, редакция срезала. И вот с тех пор... с тех пор Николай мне не пишет. Может быть, он рассердился на меня... Может быть, устал... А я, по прав-де говоря, стал о нем скучать, да-же думал: «Не прокатится ли и

мему в Сочи?» А потом решил: «Нет, народу у него теперь и без меня много». Ну, а сегодня читаю в газете, что Григорий Иванович Петровский едет в Сочи и лично вручит Островскому орден.

...Сказки всегда, с самого дет-ства, заменяли мне миф о боге. Вернее, миф о боге я воспринимал так же, как сказку.

Мне понравились сказки героиче-ские. Едет рыцарь, встречает своего врага. Враг лютый, враг страшный, он разрушает добрый фая, посланная любимой девуш-кой, и собирает куски изрубленно-го рыцаря. Собирает куски в шел-ковый плащ. Фая знает чудодей-ственное слово, она шепчет это слово над плащом с форшманом из рыцаря — и вот... он встает, встает в этом плаще и улыбается... он да-же помолодел, похорошел...

Когда я думаю об Островском, мне вспоминается эта сказка.

Островский пока еще болен, но за него уже взялись, фая уже разыскала его. Его собирают в плащ, в чудесный плащ. Фая знает магическое слово, от которого Островский встанет на ноги помо-лодевший, красивый, с орденом на груди. Это чудодейственное слово: любовь, безграничная любовь со-ветского народа.

Колл! Допрос окончен. Я долго не писал тебе. С тех пор ты из рядового советского писате-ля превратился в народного героя. И это в какие-нибудь три-четыре месца. Разве это не сказочно? Разве это не замечательно? Разве это не чудасно?

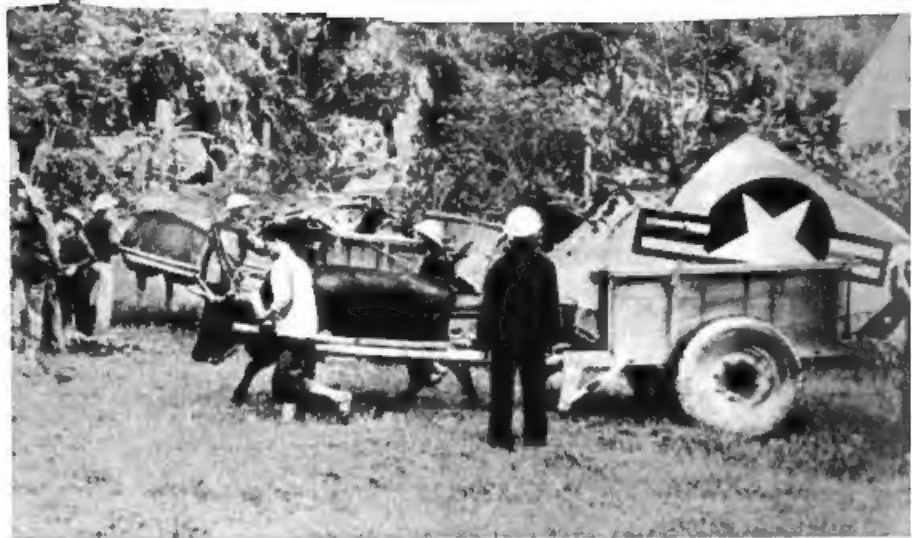
Целую и поздравляю. Передай привет маме, сестре и племяннице. Твой МАТЭ.

«Май бай! Май бай!» («Самолеты! Самолеты!») — этот крик слышишь ежедневно, ежечасно в городах и деревнях Северного Вьетнама. Это продолжается вот уже год за вычетом пятидневного перерыва в мае 1965 года и месячного в январе — феврале 1966-го. Я снова провел три недели в Демократической Республике Вьетнам и буквально каждый день, а то и несколько раз в день видел собственными глазами или «слышал» воздушные налеты американских самолетов на эту мирную страну. И мне оставалось только удивляться тому бессмысленному упорству, с которым это делается по приказам из Вашингтона.

Американские руководители, как видно, продолжают питать надежду, что они смогут «покарать Ханой», сломить дух вьетнамского народа, поставить его на колени и на коленях же привести ДРВ к столу переговоров. Нелепые иллюзии! Я лично наблюдал Вьетнам со времен битвы под Дьен Бьен Фу в марте 1954 года и все же никогда еще не видел этот народ таким сплоченным, таким твердым и уверенным в своем будущем, как сейчас. Год борьбы против новейших самолетов США и отборных американских пилотов достаточно подтверждает убежденность вьетнамцев в том, что любую эскалацию войны, любые новые ужесточения стратегов Пентагона они выдержат и выйдут победителями.

Кое-кто в США утешает себя тем, что заявление Ханоя о его решимости, если потребуется, бороться против агрессоров 10,

15, даже 20 лет не более как пропагандистский жест. Это нелепая и опасная иллюзия американских лидеров. В ДРВ сейчас во всем экономическом и социальном планировании учитывается возможность длительной войны. Эвакуируются некоторые предприятия, рассредоточиваются в безопасных районах, и притом в виде небольших заводов и фабрик, в сумме дающих прежний объем продукции. Рабочие демонтируют предприятия, транспортируют оборудование в горы и джунгли, строят временные цехи из бамбука и дерева, устраиваются сами с семьями в палатках и хижинах. Потом временные строения заменяются постоянными, палатки и бамбуковые хижины — кварталами жилых домов. Все население помогает перевозить оборудование демонтированных заводов, снаряжение и продовольствие для фронта. В ход идут все средства транспорта — от десятилитровых грузовиков до ручных тележек и велосипедов. И у каждого винтовка за плечом. На одной из фабрик, где я побывал, из тысячи рабочих добрая половина — бойцы отрядов самообороны. На случай воздушного налета всегда дежурит отряд в 30—40 человек, вооруженных не только винтовками, но и пулеметами крупных калибров. «Воевать и производить» — это стало общенациональным лозунгом. Чтобы производство не сокращалось, каждый трудится на десять минут больше, сокращая обеденный перерыв. Надо сказать, что четыре пятых рабочих на этой фабрике — женщины, и почти все они входят в отряды самообороны. Я видел



Везут обломки подбитого американского самолета.



Часовые вьетнамского неба.



ВЕСЬ НАРОД НА ПЕРЕДОВОЙ

девушек-работниц во время обучения штыковому бою, видел, как умело они голыми руками вырывают ружья у «противника». Эти девушки в большинстве из деревень, крепкие, хорошо тренированные.

Американские воздушные пираты не склонны щадить города и предприятия. Достаточно убеждает пример бомбардировки текстильной фабрики и рабочего поселка в Нам Диня. Когда я приезжал в этот город в 1964 году, там уже были выстроены прекрасные новые жилые кварталы для рабочих. Сейчас это сплошные развалины или остовы домов. На месте красивого цеха фабрики огромная воронка, целый кратер от бомбы. Разрушен и ткацкий цех. Превращено в груду обломков новое здание детского сада, больница, школа, театр. В городе сейчас осталось меньше трети населения, остальные жители эвакуированы. Жертвы среди населения сравнительно — но только сравнительно — не столь велики. Сыграли свою роль меры по противовоздушной защите, великолепно организованной, как, впрочем, во всех уголках страны. С заводов и фабрик ведут в разные стороны подземные туннели, и в

несколько минут рабочие могут покинуть цехи и добраться до убежищ.

Пентагонские генералы не учли ту сравнительную легкость, с которой вьетнамцы могут переселиться временно из городов в горы и джунгли, откуда они так блистательно вели предыдущую войну. Сопротивления против французов. Жесткие удары с воздуха, от которых могло дрогнуть любое европейское государство, здесь не дают такого эффекта.

С 1957 года цены на основные нормированные продукты питания — рис, мясо и сахар — остаются стабильными. Нормы снабжения не сократились. Риса, мяса, птицы на свободном рынке сейчас даже больше, чем когда-либо раньше. Цены на некоторые промышленные товары даже снизились на 30—40%.

— Наша сила в народе, — объяснял мне один из видных ханойских экономистов. — Идет народная война, и весь народ у нас на передовой линии. Наша главная задача — еще больше крепить эту силу, помогать людям быть здоровыми. Мы снизили цены на лекарства. Все поголовно проходят курсы по оказанию первой помощи. Снижены цены и на ве-



Боец отряда самообороны.

та его уничтожения. Американские генералы послали однажды шестнадцать бомбардировщиков с приказом... уничтожить «кладбище». Один из них был при этом сбит и украсил собой коллекцию...

Когда меня впервые познакомили с высокой и красивой девушкой по имени Нгуен Тхи Хань и сказали, что она участвовала в шестнадцати боях против американской авиации, я на минуту подумал, что эта девушка — военный летчик. Но тут же мне объяснили, что она командовала отрядом самообороны на берегу реки Ма, в провинции Тхань Хоа.

— Вы хотите сказать, что на ее деревню было шестнадцать налетов? — спросил я.

— Нет, она просто участвовала шестнадцать раз в боях против американских самолетов, — последовал ответ.

Только позднее я узнал, что слово «бой» было здесь совершенно уместным: каждый американский налет превращается в ожесточенный бой между стевятиками и защитниками города, села или предприятия. Люди ведут огонь по самолетам всеми видами оружия. По всему Северному Вьетнаму сотни тысяч юношей и девушек изучают в отрядах самообороны силуэты вражеских боевых машин, запоминают их особенности, скорость, в какую часть фюзеляжа надо целиться, когда самолет пикирует. Солдаты зенитных батарей регулярной армии научились за доли секунды делать расчеты для точной стрельбы. Если американские летчики снижаются для прицельной бомбежки, их встречает такая завеса огня, что они теряют хладнокровие, даже если их машина не повреждена.

На реке Ма, в провинции Тхань Хоа, есть мост. В течение целого года он был важной целью американских воздушных атак. По нему проходят шоссе и железнодорожная линия одной из главных транспортных артерий провинции. На этот мост американцы сбросили до трех тысяч бомб, обстреляли его несколькими сотнями ракет. Но мост по-прежнему стоит и ни разу не был выведен из строя. Я проезжал по этому мосту несколько раз во время недавней поездки по прибрежному району ДРВ, на которые американские самолеты обрушивают наибольшую часть своего смертоносного груза. На мосту видны следы бомбежек, осколками пробиты во многих местах фермы, взрывом отбита большая глыба от скалы Пасть Дракона, в которую упирается северный конец моста, превращены в руины старинные пагоды и другие памятники по соседству с ним. Но мост стоит. Попытки уничтожить его обошлись американцам в 69 самолетов! Причем были сбиты лучшие бомбардировщики, лучшие асы! Даже главный «специалист» по разрушению мостов пилот Ризнер нашел здесь свою могилу.

— На первом этапе бомбежек мы сбивали летчиков в чине капитана, — говорил мне один из командиров местной противовоздушной обороны. — Через несколько месяцев пошли майоры и даже подполковники. А теперь остались одни лейтенанты.

Последнее время американские летчики очень редко снижаются или пикируют. Реактив-

ные самолеты появляются на большой высоте, сбрасывают свой груз и тут же исчезают. Конечно, тут и речи не может быть о точном бомбометании.

На меня повело днями Дьен Бьен Фу, когда я снова увидел на дороге колонны велосипедистов, везущих грузы. Только велосипеды выглядели надежнее, чем двенадцать лет назад. В среднем на велосипед грузится четверть тонны, длина рейса в два конца — тридцать километров. Рекордная нагрузка, которой удалось достигнуть, — четыреста семьдесят восемь килограммов.

Все, что движется по дороге, начиная от грузозиков и велосипедов и кончая пешеходами, взрослыми и школьниками, привычно маскируется от воздушных хищников свежими ветками, листьями пальмы, папоротника. Однажды утром нашему «джипу» пришлось остановиться. Придорожное поле было совершенно безлюдно — это значило, что вражеские самолеты приближаются, ибо обычно поля кишат народом. Едва мы успели спуститься вниз к речке, как самолеты действительно появились в воздухе, но бомб они не сбросили. Прозвучала отбой. И вдруг поле батата заколыхалось, дружно поднялось на ноги и двинулось к дороге. Множество школьников, спины которых были замаскированы зеленью, лежало, оказывается, во время налета между грядками батата, и я не заметил ни одного из них на расстоянии каких-нибудь полтора десятков метров.

В другой раз я залюбовался из окна машины изумительно сочной и густой зеленью молодого манса. И вдруг половина поля вздыбилась и оцетинилась винтовками и штыками, словно готовясь атаковать нас. Это был отряд сельской обороны, шла учебная подготовка на случай высадки американских карателей с вертолетов.

Американцы специально систематически бомбят школы, больницы, детские сады, санатории и другие сугубо гражданские объекты, находящиеся во время войны под защитой всех международных соглашений.

На сентябрь прошлого года подверглись американским бомбежкам: университет, тринадцать педагогических учебных заведений, девятнадцать школ, двадцать детских домов; в большинстве случаев все это было разрушено. Во время налетов были убиты и ранены сотни учителей, детей, школьников, студентов. Полностью разрушен дом для престарелых в порту Сам Сон, провинции Тхань Хоа, туберкулезный госпиталь той же провинции. В ДРВ борьба с туберкулезом стоит на очень высоком уровне, и госпиталь в Тхань Хоа был одним из крупных научно-исследовательских центров. Он разрушен почти целиком — 8 июля прошлого года на него сбросили бомбы сорок американских реактивных бомбардировщиков. Среди убитых было пять врачей. А разрушение лепрозория в Куин Лай, где лечилось две тысячи шестисот больных? Это было одно из крупнейших лечебных и исследовательских учреждений по борьбе с проказой во всей Юго-Восточной Азии. Лепрозорий находился в прибрежной провинции Нге Ан, вдали от каких-либо объектов, которые можно было назвать военными. Одиннадцать дней, с 12 по 22 июля, продолжа-

лись налеты на эту больницу-санаторий, все здания сбиты с лица земли, убито сто тридцать девять и тяжело ранено восемьдесят человек.

Разумеется, у стратегов Пентагона нашлось «объяснение» этому варварству: лепрозорий-де был принят летчиками все за те же казармы и склады. Но тогда возникает ряд вопросов. Неужели президент Джонсон, который лично утверждает цели воздушных бомбежек в ДРВ, не способен разобратся в характере этих целей? Не является ли бомбардировка северовьетнамских школ, больниц и научных центров частью запланированной кампании устрашения, рассчитанной на то, чтобы заставить ДРВ явиться к столу мирных переговоров с повинной головой?

Я разговаривал с пленными американскими летчиками и могу сказать одно: все они производят впечатление людей до крайности растерянных. Моральный уровень летчиков крайне низок, они парализованы страхом еще до вылета на бомбежку.

Они боятся сильного зенитного огня, который встречает их с земли.

Они опасаются общественного позора у себя дома: их семьи получают телеграммы, им звонят по телефону, пишут негодующие письма по поводу «двухлетности» их мужей или братьев во Вьетнаме.

Они боятся попасть в плен: голы у них забиты рассказами о пытках и прочих ужасах, которые их якобы ожидают в плену. Боятся они и репрессий, судебных, экономических и иных, со стороны американского правительства, если у них вырвется в плену хотя бы одно «неуместное» слово, если они выскажут хоть одну из мыслей, которые живут у них в душе, — о том, что эта война — «ложь и обман», как это уже сделал старший сержант американских специальных войск Дональд Данкен.

Наконец, некоторые пленные летчики признавались, что самый большой и постоянный страх вызывали у них сами «миссии», то есть вылеты на бомбежку.

Отвечая на мой вопрос, председатель Верховного суда ДРВ и секретарь ассоциации юристов Фам Ван Бак сказал:

— Война, которую ведут у нас американцы, является преступлением против человечности. Правительство США день за днем проводит массовые воздушные налеты на густонаселенные районы, используя бомбардировщики «Б-52», напалм, фосфорные бомбы, отравляющие вещества и другие жесточайшие средства массового истребления мирных людей Вьетнама. Эта война может быть охарактеризована как война на уничтожение. Совершая все это, правительство США самым серьезным образом нарушает свои международные обязательства, Женевские соглашения 1954 года о Вьетнаме, Женевскую конвенцию 1949 года о защите жертв войны и другие нормы международного права. Военные преступления, которые они совершают сейчас во Вьетнаме, можно сравнить лишь со злодеяниями гитлеровцев, осужденных Международным военным трибуналом в Нюрнберге.

Перевел с английского Л. Чернявский.



Угроза с воздуха...

лодосипеды — ведь многим теперь приходится жить далеко от места работы. Велосипедный завод работает сейчас двадцать четыре часа в сутки, цехи расширяются. Мы выпускаем дешевые радиоприемники — пусть каждый вовремя узнает новости, военные и политические. И мы не забываем радиопередачи Сайгона: наш народ может их слушать и сравнивать слова с делами.

Однажды я ехал по дороге на юго-восток от Ханоя и стал свидетелем удивительного зрелища. Нам навстречу двигалась процессия — пять телег, запряженных быками и окруженных конвоем из местных партизан. Замаскированные листьями, на телегах лежали обломки сбитого американского реактивного истребителя типа «Фантом» — тут было все, кроме тяжелого мотора. Обломки везли на центральное «кладбище» американских стевятиков. Это был представитель еще одного типа боевых самолетов США. Двадцать девять образцов уже покоились на этом кладбище. Подобные «музеи» создаются во многих провинциях ДРВ.

На центральном «кладбище» возле обломков стенды с подробными таблицами, где указаны летные характеристики самолета, да-

ГЕРОЙ И ПОДВИГ

Творчество Вадима Кожевникова отличается постоянным поиском героических образов. Так, он создал, например, замечательный, до сих пор, на мой взгляд, не получивший достойной оценки в критике роман «Заре на восточном берегу». Героический характер в центре повествования и в новом романе В. Кожевникова «Щит и меч».

Иногда встречаются в литературе высказывания, что любой вертопрах и «инициатор», когда пробьет урочный час, возмнет пулюет и совершит подвиг. Жизнь постоянно опровергает такой наивный и самоуверенный взгляд. К подвигу ведет крестный, труднопреодолимый путь, которую осилит не каждый. Героизм — это прежде всего предельное напряжение интеллектуальных и моральных сил. Для этого необходима внутренняя подготовленность человека.

Именно так решает проблему героизма в своем романе В. Кожевников.

Хотя главный герой произведения советский разведчик Александр Белов и имеет добрую «завязку», но не вдруг, а в процессе воспитания, преодоления трудностей у него выработался героический характер. Вероятно, у него и не сформировались бы «неотъемлемые слабые», необходимые для выполнения заданий, поручений советскому разведчику, если бы не весь его предшествующий путь. Условия воспитания, прекрасные моральные начала, заложены в нем семьей, школой, всей советской действительностью, а сочетание с великодушными личными задатками, готовыми и подготовили Александра Белова к тому, чтобы он превратил всю свою жизнь в непрерывный подвиг. Работая в самом центре фашистского логова, в гитлеровском гестапо, талантливый разведчик проявляет редкое бесстрашие, железную волю и выдержку, сверхчеловеческое напряжение нервных сил, постоянную готовность к самопожертвованию.

Писатель очень тонко и достоверно рассказывает о повседневной, смертельно опасной работе этого благородного и отважного человека. Он раскрывает не только внешнюю канву событий-приключений, как это бывает в заурядных «шпионских» романах, а стремится постигнуть психологию героической личности в подобных, исключительных по остроте обстоятельствах, и это писателю во многом удается. Кто-то из критиков сделал упрек, что Александр Белов под личиной Иоганна Вайса удался автору больше, чем Александр Белов «без личины», как советский патриот. Может быть, в какой-то степени это и так. Но надо учесть, во-первых, что вся основная часть повествования в романе посвящена изображению Александра Белова именно «под личиной», именно в непрерывном поединке с матерыми фашистскими контрразведчиками. А во-вторых — что самое важное, — писатель поставил перед собой, уникальную по сложности творческую задачу. Ведь он одновременно раскрывает психологию советского человека героического склада и психологию Иоганна Вайса, в которого артистически, можно сказать, органически, перевоплощается Александр Белов, и сам процесс этого перевоплощения, и всю жизнь своего героя в двух лицах одновременно. Это делается просто в «шпионском» романе, не претендующем на психологический анализ. И невероятно трудно раскрывать душу своего героя одновременно в нескольких психологических планах, как это делает В. Кожевников. И тем не менее ему удается создать полнокровный, целостный в своей жизненности образ, убедительно показать сложный и богатый интеллектуальный и эмоциональный мир Александра Белова.

Моральная сила и стойкость этого истинного героя вырисовываются перед нами не как свойства некоего «сверхчеловека», только в силу своей «супернатурности» одерживающего победы и над окружающими его врагами и над слабостями своего человеческого естества. Конечно, личные достоинства Белова — редкое совпадение, и все-таки непоколебимой почвой его силы является ясное осознание общего значения своего трудного дела, того, что он в логове зверя не один, «осознание себя как частицы целого — сильного, мудрого, зоркого».

Какую-то противоречие внешнего и внутреннего в личности подлинного героя, пожалуй, даже не исключение, а правило. В романе «Щит и меч» эта важная идея раскрывается не только в образе Александра Белова, но, пожалуй, даже с большей рельефностью в образе другого советского разведчика, работающего в тылу у немцев под именем Бруно. В книге он появляется всего в нескольких эпизодах, но этот образ надолго западает в душу читателя. Внешний вид разведчика более чем невзрачный, даже при большом желании в облике Бруно вряд ли можно обнаружить что-либо напоминающее о героизме. Но Бруно ни на миг не поколебался, когда интересы Родины потребовали и когда он сам «счел целесообразным» выполнить то, что было необходимо выполнить, и погибнуть, а Иоганна сохранить». В. Кожевников рассказывает балладу о великом разведчике Бруно, просто и бесстрастно пошедшем на мучительную смерть во имя выполнения своего долга перед Родиной. Пусть разведчик пока не ставит памятников и не оглашают их имена в газетах. Но в наших сердцах навеки запечатлены их благородные образы, являющие для каждого честного советского человека пример высокого героизма. Вместе с автором читатель в раздумье повторяет его слова: «Не знаю, из какого металла или камня нужно изваять памятники этим людям, ибо нет на земле материала, по твердости равного их духу, их убежденности, их вере в дело своего народа».

В таких художественных образах, как Александр Белов, Бруно и ряд других из романа «Щит и меч», реально поступки и моральные черты советского человека выражены в такой возвышенной форме, которая близка и сердцу воспринимается большинством читателей. Люди идут за такими образами героев не просто под влиянием порыва, а осмысленно, глубоко понимая их закономерность и справедливость.

В этом, мне кажется, прежде всего идейно-художественная значимость, воспитывающая сила нового романа В. Кожевникова.

Ан. ДРЕМОВ

Вадим Кожевников. «Щит и меч». «Роман-газета» №14 20—23 за 1965 год.

Б.В. ИОГАНСОН,
народный художник СССР

Вячеслав Францевич Загонек — один из ведущих художников-пейзажистов, который своим творчеством отстаивает права пейзажа-картины — жанра, дающего возможность выразить сложный комплекс человеческих переживаний и раздумий. Это художник интимно-лирического, романтического склада, чувствующий сокровенное родство природы и человека, ту музыку, которую находит человек в природе. В своем творчестве Вячеслав Загонек продолжает лучшие традиции великих русских пейзажистов Исаака Левитана, Валентина Серова, Константина Коровина, Михаила Нестерова.

Природа для Загонек — это не просто приятный для глаза, красивый вид. Живописец показывает, что вся жизнь человека, его труды и заботы связаны с родной землей, с родными полями, лесами и реками, со сменой времен года... Человек не просто «заходит» художником в пейзаж — он действительно живет в природе.

И мы видим: в своих картинах мастер проявляет интерес не столько к передаче внешних действий людей, сколько к раскрытию духовной, внутренней взаимосвязи человека с окружающей его природой. Именно это придает работам Вячеслава Загонек особую задушевность, лирический настрой.

Каждый, кому знакомо творчество этого пейзажиста, непременно заметит не только его интерес к природе вообще, но и тягу к вполне определенным мотивам и состояниям природы. Художника особенно сильно влекут к себе весна и осень — времена года, когда природа изменяется на наших глазах и когда человеческое сердце живет, быть может, наиболее интенсивной эмоциональной жизнью.

ЦВЕТЕТ ЧЕРЕМУХА

Произошло так, по-видимому, оттого, что именно эти переходные состояния природы и соответствующие им различные чувства, тончайшие переживания человека особенно созвучны лирическому складу дарования художника.

Уже то, как работает Вячеслав Загонек, подтверждает лирический характер его творчества. Как рассказывает сам художник, замысел произведения обычно рождается у него на основе глубокого, порой неожиданного впечатления, переживания. Именно поэтому живописец четко разграничивает задачи этюда и задачи картины. В своих этюдах художник изучает природу, накапливает натурные наблюдения. Однако этюды в общем процессе его работы — всего лишь подсобный, подготовительный материал. Никогда художник не превращает механически этюд в картину.

Эскиз задуманной картины Загонек почти всегда пишет, не вдаваясь в разработку деталей и стараясь выявить главный живописно-эмоциональный мотив будущего произведения. Отыскивая этот основной изобразительно-эмоциональный мотив в эскизе, художник потом сравнительно мало изменяет его в большом холсте. Но, стремясь наиболее эмоционально раскрыть содержание пейзажа, живописец широко, активно использует такие изобразительные средства, как декоративность, линейный и цветовой ритм, силуэт, колорит. Желание придать «музыкальность» пейзажу — это та характерная черта, по которой всегда узнаешь творчество Вячеслава Загонек.

Если же посмотреть в целом на все его творчество (что мы имели возможность сделать на его недавней персональной выставке), то нельзя не заметить еще одну особенность интимно-лирического дарования этого художника — его любовь к рекам, озерам, просто к воде. Будь то «Байкальский мотив» с цветущей черемухой, или же «Гроза прошла», когда вся природа насыщена влагой и победоносно сияет радугой, или же картина «Утро», где стая гусей, расправив крылья, несется по лужам. Будь то «Ялдом-озеро» или дождь в полотне «Цветет черемуха». И в задушевной лирической картине «Ялинушка» снова перед нами водное пространство с восходящей над ним луной. Оно как бы подчеркивает, усиливает состояние задумчивого созерцания — главное состояние героев картины. Этот мотив проходит красной нитью через творчество художника. И, мне кажется, в этом специфическое обаяние и очарование живописца-лирика Загонек.

«В своих картинах», — говорит сам В. Загонек, — мне всегда хотелось передать свое восхищение как перед все время меняющейся природой моей Родины, так и перед моим современником — человеком труда, хотелось передать его неразрывную связь с природой, его духовную красоту, хотелось показать его в буднях созидательного труда. Я всегда ищу поэтическую сторону нашей многосторонней действительности».



В. Загонек. БАЙКАЛЬСКИЙ МОТИВ.



В. Загонюк. ГРОЗА ПРОШЛА.

УТРО.



ЮРИНЫ

В редакции всегда многолюдно. Здесь уже не раз за круглым столом «Огонька» встречались старые большевики, ветераны Великой Отечественной войны, ученые, космонавты, артисты. Но вот с разных концов страны съехались агрономы. Тут и ученый-биолог, и селекционер, и научные сотрудники опытных станций. А главное — у всех одна и та же фамилия: Юрины. В редакции встретились представители целой династии агрономов, дети ныне покойного чудотворца земли русской — Василия Юрина.

Встречи в Москве предшествовали встречи в поле. Где же еще и познакомиться с агрономом, как не на пашне, не возле опытной делянки, не в зеленом мире растений!

По поголему загорку ползли три трактора. За последним, едва видимый сквозь черную пыль, шел высокий человек. Секретарь райкома партии Д. Бойко узнал его издали: «Он, Юрин».

Тяжко стонала под натиском стали закаменевшая земля. Лемеха буквально выламывали крупные комья иссохшегося чернозема. Трактористы остановили машины и пошли к нам. Подошел и Юрин. Все пропыленные, озабоченные. Поздоровались, заговорили: как быть, когда сеять? Раньше куда как просто было. Скажут: «Сей», — и сеяли. Теперь вот он, секретарь райкома, рядом стоит, а команду не подает. Советует, конечно, а решать все равно самим надо. А тут еще, как назло, с юна ни капли на землю не упало...

Юрин ударил каблук по глыбе, наклонился и взял горсть земли:

— Как порох! Давно бы отсеяться, а мы и не начинали. Разве можно в такую сушь бросать зерно? — В голосе Василия Васильевича Юрина, директора совхоза, звучала тревога, на лице отразилась боль. Только когда уже подъехали к полю кукурузы, морщины на его озабоченном лице расправились. Для такого сухого года кукуруза уродила неплохо.

— Ты ее сеял, помнишь, по методу брата? — спросил секретарь райкома у Юрина, а нам пояснил: — У него все сестры и братья — агрономы, ученые.

Вечером один из авторов этих строк сидел в небольшом уютном доме совхозного поселка. Раскрыв семейный альбом, Василий Васильевич сказал: «Отец...»

На фотографии, тронутой желтизной, — благообразный старик с окладистой бородой. Широко лицо, высокий лоб, умный и добрый взгляд.

— А это брат, Петр. Когда-то

агрономил в колхозе, теперь кандидат биологических наук.

У самого Василия Васильевича жена тоже агроном. Старшая сестра Ольга — селекционер, работает под Москвой на Грибовской селекционной станции. И муж у нее, кандидат биологических наук, работал там же. Сейчас Ольга Васильевна в творческом отпуске, пишет докторскую...

Очень интересна летопись семьи русских земледельцев.

Юрины...

Их прадеды были крепостными. Отец — Василий Петрович — родился в пензенской деревушке с лирическим названием Мурава. Третью свою жизнь батрачил. Страстно влюбленный в природу, пылкий и деятельный, пензенский крестьянин Василий Юрин не примирился с уготованной и для него судьбой безропотного раба чужой земли. В нем многие годы зрел талант ее преобразователя. Преодолев немалые лишения и даже унижения, Василий Петрович добился своего: выучился на агронома-садовода. В Мураве говорили: «Выбился в люди», хотя скитания по барским усадьбам не приносили ни настоящего удовольствия, ни там более счастья открывателя. Но он не терял времени даром, учился и не покладая рук работал в мастерской природы.

После Октября садовод-опытник зажил как бы новой жизнью. Он был главным садоводом в Свердловске, садил сады в подмосковных городах, агрономил в разных хозяйствах. Теперь уже не счесть всех тех садов, которые заложил и взлелеял своими руками старший Юрин. Уйдя на пенсию, до последних дней жизни, на пороге своего десятилетия отец не переставал трудиться на земле. Поднимался вместе с солнцем и шел то ли на опытное поле колхоза, то ли на пришкольный участок, к юннатам.

Страстная любовь к природе, к земле владыка и душой матери. Мария Николаевна, бывшая учительница, уже на шестом десятке стала эвоницей Тимирязевской академии. В ту пору она работала агрономом и не уставала учиться.

Детей было четырнадцать! С молоком матери они впитали уважение к труду земледельца. Отец внушал сыновьям и дочерям:

— Вся жизнь — от земли. Теперь, когда она принадлежит крестьянам, надо помочь им стать ее грамотными, настоящими хозяевами.

Василий Петрович каждому из детей определял на огороде грядку: «Сам эту грядку обработай, а осенью отчитывайся урожаем». Малолетние Юрины, подчас еще не зная алфавита, овладевали азбукой земледельца. Ребятишки с малых лет радовались первым всходам, старались как можно лучше обработать свои крохотные поля, привыкли задумываться над смыслом незримых процессов жизни. Почти все, кто рос в этой огромной дружной семье, пошли по стопам отца. Девять детей выучились на агрономов. Пять из них поднялись еще выше — стали кандидатами наук!

В годы Великой Отечественной войны шесть братьев Юриных были с немцами. И отец их, Василий Петрович, несмотря на свои 70 лет, вступил в ряды ополченцев Москвы. Двое — Владимир и Николай — не вернулись с войны. Петр, Александр, Василий и Павел прошли через все ее испытания.

Вернувшись из армии, Петр Васильевич работал агрономом в Подмоскovie и учился в Московском университете. Александр поступил в техникум механизации сельского хозяйства. Василий пошел в плодоовощной техникум, а несколько позже окончил Воронежский институт и поехал в совхоз «Придонский». Здесь был главным агрономом, а сейчас вот уже четвертый год директорствует. Лишь Павел изменил семейной традиции — выучился на радиотехника. Талантливый юноша погиб недавно при исполнении служебных обязанностей.

Знакомство с семейными реликвиями мы продолжили в доме Петра Васильевича в Чашинкове, что под Москвой, где расположена агробиологическая станция МГУ. Юрин поставил на стол большой ящик, извлек папки:

— Вот в этой — все про отца...

Пожелтевший от времени лист с вязью старинного шрифта — программа краткосрочных курсов по садоводству и огородничеству, разработанная Василием Петровичем еще в 1918 году... Его трудовая книжка. Записи, сделанные в ней, в наши дни звучат странно и непривычно: «1901—1905 гг. Имение Дерибазовых, в дер. Величкава... Имение бывшего министра земледелия Ермолова в Ряжском уезде... Имение помещика Вороного...» Дальше другие времена и другие записи: «Инструктор садоводства... Преподаватель училища садоводства... Агроном...»

Здесь же и статьи Василия Петровича, описание созданных им новых сортов овощей, фотографии, вырезки из газет. Выписка из приказа по Мособлздравотделу, датированная 22 ноября 1947 года, свидетельствует о том, что «старший агроном подсобного хозяйства В. П. Юрин в ознаменование 50-летия его агрономической деятельности премирован коровой с обеспечением кормофуражом».

Другая папка. Здесь все, что связано с памятью брата Николая, пропавшего без вести на войне. Тут стихи, те немногие, что сохранились, и дневник, датированный последними месяцами 1936 года, когда Николай был студентом. Лаконичные записи: «Собой всегда недоволен... Вчера отправил статью в «Комсомольскую правду»...» А дальше на шести страницах идут заметки о стилизованных особенностях «Тихого Дона». И рядом: «Есть желание вложить свою лепту в науку... Заняться бы особенно сподручкой мне агрономической физикой, заложить бы опыты...» И Николай нашел себя. Он окончил Белорусскую сельскохозяйственную академию, работал научным сотрудником на опытной станции. Оттуда и ушел на фронт.

...Петр Васильевич пишет книгу. На титульном листе посвящение: «Светлой памяти моего отца, Юрина Василия Петровича, привившего любовь к биологии с самого раннего детства». Там книги — совместные посевы — завлел Юрины еще в тридцатые годы, когда он только окончил сельскохозяйственный техникум и работал участковым агрономом в Сибири. Отец одобрил тему, Петр вынашивал ее долгие годы. Поиски, поиски, многочисленные опыты... Результаты их многообещающие.



Глава династии — Василий Петрович Юрин с внучкой Таней.

— Суть совместных посевов в том, что на поле одновременно возделываются растения, относящиеся к одному биологическому виду, но значительно различающиеся между собой по разнотию, росту, возрасту, по наследственным возможностям и условиям жизни. Новые методы совместных одновидовых посевов зарегистрированы в Государственном комитете по делам изобретений и открытий. Комитет Совета Выставок достижений народного хозяйства награждает П. В. Юрина серебряной медалью.

Когда мы расставались, Петр Васильевич посоветовал:

— Обязательно съездите к Ольге, на Грибовку. У нее немало любопытных семейных документов.

После Чашникова — поездка на Грибовскую селекционную станцию, к Ольге Васильевне. У нее в тот день собрались почти все братья и сестры.

Ольга Васильевна разыскала старенькую общую тетрадку. На первой странице рукой отца написано: «Милые и дорогие мои дети! Обращаюсь к Вам с просьбой: когда бываете у меня, то пусть каждый из вас напишет дату своего посещения и то, что найдет нужным».

Пошла тетрадка по рукам, как бывало...

— Вася, помнишь, первая запись твоя была.

— Читайте вслух!

«1951 год знаменателен для нашей семьи тем, что вместе с младшей сестренкой поступили учиться два запоздалых студента — Павлик и я. А 1952 год будет знаменателен первым послевоенным выпуском двух специалистов из Московского университета и Ленинградского сельскохозяйственного института...»

— Это про меня и Аню, — перебивает Петр Васильевич. — А вот Лиде обращается к Ане: «Аня! Будь последовательна в работе. Смотри на вещи беспристрастно, без малейшего предубеждения, а то оно часто мешает нам быть объективными. А самое главное —

будь ярко горящим пламенем, а не тлеющим огарком».

— Аня всегда у нас горит, всегда в движении! Энергии у нее хоть отбавляй. Настоящая ракета!..

— Послушайте запись Павлика: «Дорогой папа! В день твоего 84-летнего юбилея особенно приятно пожелать тебе всего самого хорошего. Пусть еще долгие, долгие годы ты здравствуешь и остаешься живым примером для каждого из нас в работе, в отношении к людям, в семейной жизни...»

Несколько строчек написано рукой Наташи: «Наконец обеими ногами встала на твердую почву. Постараюсь приложить все силы и способности, чтобы стать специалистом — агрохимиком, почвоведом».

Василий Васильевич берет тетрадку, молча перелистывает несколько страниц и недоуменно морщит лоб:

— Нет, вы послушайте, что Лиде записала: «Наташа! Когда будешь здесь, непременно напиши какую-нибудь ядовитую эпиграмму на Васю. Он, шут гороховый, все каникулы на меня писал, а ведь мы с тобой заодно».

— Вот, оказывается, какой заговор был...

Тут же находят и читают эпиграммы и смеются так беззаботно и заразительно, как смеялись, наверно, в давние студенческие годы. А Ольга Васильевна показывает ветхий бланк департамента земледелия, датированный апрелем 1914 года, — это официальное уведомление о том, что младший инструктор по сельскохозяйственной части, не имеющий чина Василий Юрик всемирнолюбивее пожалован серебряной медалью с надписью «За усердие» для ношения на груди на Станиславской ленте. Ольга Васильевна читает вслух: «Препровождая при сем означенную медаль для выдачи по принадлежности, департамент просит сделать распоряжение о взыскании с Юрина следующих за медалью семи рублей пятидесяти копеек и о внесении этих денег в местное казначейство...»

— Папа, кажется, так и не выкупил ее, — замечает Ольга Васильевна.

— Ты, Оля, про свои награды скажи!

— Ну вас! — сердится Ольга Васильевна. А наград у нее немало: орден «Знак Почета», три медали ВДНХ — это за выведение новых сортов тыквенных, — медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». А на международной выставке по садоводству, проходившей в Эрфурте в 1961 году, ее наградили медалью и удостоили звания почетного гражданина города Эрфурта.

— Между прочим, на той выставке и я побывала! Ездил туристкой в ГДР и заехала в Эрфурт. Иду и вижу сестрицу, стоит такая чинная в нашем павильоне, пояснения дает. А как увидела меня, куда вся важность делась! Шутка ли, где встретились! — говорит Лиде.

Воспоминания... Воспоминания... Примечательный документ: «Протокол заседания научной конференции семьи Юриных, посвященный 84-й годовщине главы семьи Юрина Василия Петровича». Такие семейные сборы проводились почти ежегодно в день рождения отца. Их с полным правом можно назвать научными. В семье

«Мои детям, в память десятилетия кончины Марии Николаевны Юриной...»

Что ж давало силу жизни, Чем держался бодрый дух? Чем же он воспламенился И до смерти не потух!

Тем, что в нем жила идея, В свете выше всех идей: Воспитание честных граждан Милой Родины моей!

Вот какие они, Юрины, династия земледельцев!

В канун открытия XXIII съезда партии Юрины по приглашению редакции собрались в редакции «Огонька» на свою очередную традиционную семейную «конференцию». Перед нами stenogramма этой необычной научной конференции.

Председательствует Петр Васильевич, и ему — первое слово.

Петр Васильевич:

— Ся дня последней нашей встречи минуло пять лет. В 1961 году не стало отца, с тех пор нам было тяжело поддерживать семейную традицию. Мы переписывались, но вот так, как бывало, не собирались. Сегодня наша встреча несколько необычна, проходит она в редакции журнала, и все-таки каждый из нас, я уверен в



выросли специалисты разных отраслей сельского хозяйства. И в зачитанном протоколе значилось семь «докладов». Каждый докладывал на семейном совете, чего добился, какие встретил трудности. А затем начинались жаркие прения. И тут скидок друг другу Юрины не делали!

После официальной части каждый читал свои стихи. Их пишут почти все Юрины. Видимо, они не могут не быть хоть немножко поэтами: общение с природой вдохновляет!

— В тот день папа читал свои стихи, посвященные памяти мамы, — напоминает Ольга Васильевна. — Петь, они у тебя?

— Читай! — требуют все.

Голос Петра Васильевича звучит торжественно и тихо:

этом, рад, что мы снова вместе. Пять лет — немалый срок в жизни страны и в жизни каждого из нас. Страна начала новую пятилетку, перед всеми нами стоят новые общегосударственные задачи. И очень здорово, что они не расходятся с нашими личными планами!

Прежде чем начнется разговор о прожитом и пережитом, я предлагаю вспомнить тех, кого с нами нет. Мы лишились двух дорогих для нас людей, наших братьев, к мы лишились отца... (Минута молчания.) Отец нам дал и оставил очень много. Каждому из нас приходилось в трудную минуту мысленно советоваться с ним, думать: а как бы поступил в таком случае отец? Вероятно, такие минуты есть у каждого в жизни...

Ну, а теперь наступил час отчета. Давай начнем с тебя, Василий! Под твоим началом целый совхоз, у тебя много нового после мартовского Пленума ЦК партии!

Василий Васильевич: — Наша специализация — животноводство. Вырашиваем круп-

ный рогатый скот для продажи на племя, даем молоко и мясо. Но животноводство немислимо без растениеводства. В этом теперь, кажется, убедились даже и неспециалисты. Все дело в морях. Пользуясь тем, что теперь нам, руководителям хозяйства, доверяют куда больше, мы в «Придонском» пересмотрели структуру посевных площадей, заменили часть малоурожайных культур. Как зерновая культура кукуруза у нас в общем-то себя не оправдала. А вот на силос она хороша. Какие у нас, практиков, трудности? Сейчас кормим скот как будто бы и сытно, однако, чтобы еще больше повысить его продуктивность, мы должны ликвидировать недостаток белков. Мало ценного сена. Хорошие урожаи тыква дает, но мы как-то невнимательны к ней.

Тут Ольга Васильевна под общим смехом встрепенулась: «Как так невнимательны? Ведь она уже четверть века занимается селекцией тыквы, как говорится, собаку съела по этой части».

Петр Васильевич, наведа порядком, несколько официальным тоном спрашивает:

— Какими методами, товарищ директор, вы получаете высокие урожаи кукурузы?

Снова смех. Василий Васильевич поднимает веселые глаза и, обращаясь к председателю, говорит:

— Совместными посевами, Па-

нна Васильевна: — Вы знаете, что я занимаюсь огурцами. Хотим снабжать население Урала овощами круглый год. А на Урале население в основном городское. И очень трудно обеспечивать всех пораньше овощами. Но за последние время в Свердловске налажено товарное овощеводство, чего лет пять назад не было. Здесь организованы тресты и специализированные овощеводческие совхозы. Сейчас у нас, научных сотрудников, такая проблема: продлить сезонность в снабжении овощами. В Свердловске уже построено свыше четырех тысяч квадратных метров теплиц новых конструкций. Это все арочные теплицы. Мы разрабатываем агрокомплекс для огурцов и добились получения 20—22 килограммов огурцов с каждого квадратного метра. Теперь стараемся получить тридцать. Наступает единым фронтом инженеры, физиологи, агрономы, специалисты по защите растений.

— А неча, а на какой площади уже внедряет ваш агрокомплекс? — В этом году на площади более шестидесяти тысяч квадратных метров!

Петр Васильевич: — Какие сорта берете, чтобы получить урожай в тридцать килограммов? Анна Васильевна понимаете улыбается: ей понятно, куда клонит братец.

Применяем принцип совместных посевов! Этот метод, Петя, действительно играет большую роль в продлении жизни растений. В прошлом году мы даже организовали семинар по твоей теме, и всем очень понравился новый метод. А ты жам, Оля,

дотные почвы. У нас на украинском Полесье этих почв больше миллиона гектаров. То впечатление, которое уделяют сейчас торфяным почвам, я считаю совершенно обоснованным. Чем хороши эти почвы? У них довольно большой потенциал плодородия.

Петр Васильевич: — Минуточку, Лидя. Ведь у нас большой специалист по плодородию, точнее, по удобрениям, Наташа. Она в институте удобрений работает.

Наташа: — Лаборатория наша занимается проблемой химической борьбы с сорняками. Сейчас ведь как? Удобрения все больше, и первыми на них откликнулись... сорняки. Значит, нужны химические меры борьбы с ними. К сожалению, химики все еще недостаточно выпускают гербицидов. Широкое производство их пока не налажено...

Петр Васильевич: — Есть среди нас человек, который доставляет удобрения, так сказать, на место, прямо в поле. Вот Александру приходится заниматься этим, он в Рязанском «Сельхозтрансе» работает...

Александр Васильевич: — Я, братцы мои и сестры, не агроном, но все дороги веду к ним же в сельское хозяйство! Сейчас особенно большое внимание уделяется перевозкам грузов для деревни. Их много — и зимой, и осенью, и летом. А теперь еще возим и торфяную крошку. Мы в своем хозяйстве переоборудовали цементовозы для распыления минеральных удобрений. За минувший год перевозка удобрений увеличилась в два с половиной

— Как там твоя Надя? Грызет науку? — спрашивает Ольга Васильевна брата.

— Дочка уже на третьем курсе. В МГУ, на биолого-почвенном. Мечтает стать биохимиком растений. Так что дад мог бы порадоваться еще одному побегу на агрономическом древе Юриных!

Ольга Васильевна: — А мой Сергей ударился в физику. Но очень любит работать на приусадебном участке. Да и знания у него уже есть — так, на уровне среднего агронома.

Все засмеялись. Кто-то в шутку упрекнул: «Не сумела воспитать агронома!» И снова воспоминания: «Вот отец, бывало... Вот мама... Дети не знают наших былых лишений».

Ольга Васильевна: — Помню, двадцать голодные годы. Нас шесть голодных ртов. Папа в поле с утра, мама одна с нами. Володе, Пете и мне уже пора в школу, а мы разутые, раздетые. Три года мама с нами дома занималась а когда обувкой разжились, то ведь мы сразу все трое в третий класс были приняты! Возраст разный, а знания одинаковые.

Ольга Васильевна достает письма матери. Она получала их в трудную военную пору, когда



Сестры и братья Юрины (слева направо): Александр, Наташа, Ольга, Петр, Лидя, Василий, Анна.

Фото Г. Колосова.

тя, совместными, как ты учишь, наш дорогой теоретик! Используем ранние сорта, средние и поздние, и начинается биологическое соренование на поле!.

— Какая разница была в уро- жаях!

— Точно сейчас не помню. Но, будь спокоен, мы твердо приме- тим этот метод!

— Травы есть!

— Я говорил о недостатке бел- ков, но мы теперь сеем люцерну. По новому постановлению нынче совхозам возвращают жмых за проданный подсолнечник. Таким образом норма будет более пита- тельными, ценными... Прошлый год закончили с прибылью в 20 тысяч рублей.

Петр Васильевич: — Вася у нас из теплых краев, а теперь слово тому, кто из холодных. Слово на- шей уралочке Ана.

очень интересные сорта присла- ла!

Ольга Васильевна: — Наша стан- ция с 1920 года создала более двухсот новых сортов. У нас вы- ведены сорта, которые обеспечи- вают население овощами круглый год. На выставке мы получили 28 золотых медалей. Сейчас заня- ты тем, чтобы создать сорта огу- ров, устойчивых к болезням. В прошлом году мы испытывали сорт «изящный». Он оказался са- мым урожайным и самым скоро- спелым!

Петр Васильевич: — А как на- счет личных перспектив?

Ольга Васильевна: — Я в «дон- торском» отпуске. В апреле дол- жна закончить диссертацию. Ра- бота, вы все знаете, посвящена селекции тыквенных культур.

Петр Васильевич: А теперь слово Украинке!

Лидя: Я вам уже писала, что мы изучаем агротехнику молодого сада, химические методы борь- бы с сорняками. Хотим научиться использовать торфянистые и бо-

раза по сравнению с шестидесят четвертым годом.

Мог бы я вам и про нашу бога- тую рыбалку, про охоту расска- зать, но разве такую серьезную публику, как вы, этим заинтере- суете? Слова тут бессильны, луч- ше приезжайте ко мне на Рязан- щину!

Петр Васильевич: — Не сбивай, Саша, на пикник! Это тема летняя. А сейчас я, пользуясь правом председателя, расскажу, как наша агробиологическая станция МГУ помогает земледельцам нечарно- земной полосы.

...И пошел большой разговор о науке, которая аэрой и правдой служит земледельцу, о тайнах земли, которые постичь еще не удалось. Как-то сам собой, сло- во в развитие начатого разговора, всплыл вопрос о молодых, о тех, кому вручать эстафету.

работала агрономом в одном из колхозов Пензенской области. В каждой строчке — материнская тоска: «Девочки у меня хозяйст- вуют с папой. Я их не видела три недели и скучно по ним, а отлу- читься из хозяйства никак нельзя. И с фронта весточек нет. Я вся истосновалась!»

Дети, сами ставшие родителями, с благодарностью думают о Ва- силии Петровиче и Марии Нико- лаевне — горели они до послед- ного дня своего. Бодрые были люди.

...За окном синевой наливаются сумерки, стучит стекло под напо- ром теплого ветра. Весна зовет в поле. Конференция семьи Юри- ных закрывается. Частая звонкая капель ставит точку. До новой встречи, Юрины!

Мир

не без добрых людей

Машину вела Нонна, и это раздражало Алексея, словно он оказался в зависимости от нее. Или показал себя слабым человеком. А он и верно, слабават. Дважды записывался на шоферские курсы, да так и не окончил все что-нибудь мешало.

Он сидел рядом с Нонной и хмуро смотрел на летящее под колеса матово-черное шоссе. В поле зрения надоедливо попадал болтающийся на нейлоновой нитке негртенек в алой юбочке — автомобильный амулет, очевидно, подарок очередного Ноннинного поклонника. Разговаривать Алексею не хотелось.

В общем-то он сам согласился поехать в Дубну. Но теперь ему подумалось, что вокруг него и Нонны складывается какой-то заговор. А кому приятно быть в центре заговора и не понимать его?

Нонна тоже не разговаривала. А может, мешали встречные машины. Шоссе было узкое, и до самого Дмитрова навстречу все время шли грузовики, а сзади подпирали поток легковых — москвичи ехали за город на прогулку, в лес, на дачу.

Машину Нонна вела с профессиональным шиком. Она вообще все делала хорошо, и это тоже раздражало Алексея, словно врожденная талантливость Нонны отдалила ее от него.

Он изредка взглядывал на маленькие, очень красивые руки с отполированными малиновыми ногтями, дежно лежащие на руле, видел ее профиль носо отчеркнутый волной рыжевато-золотистых волос, летящую и янскую нервную бровь, неожиданно грустный глаз в тяжелых от туши ресницах.

«Интересно, как она с такими ногтями стирает Бахтиярову белье там, на стройке? — раздраженно подумал Алексей — Непонятная женщина! Хотя вряд ли она занималась подобными делами, конечно, эти скучные подробности жизни она передала кому-нибудь другому... Нет, мне не нужна такая женщина, — с неожиданной яростью решил он, — все в ней мне чуждо!»

Нонна повернула к нему лицо и вдруг улыбнулась. Улыбка у нее была простодушная, грустная.

— Почему вы молчите, Алеша?

Они только что миновали наконец Дмитров, и теперь машина шла по шоссе над каналом. Ползущие по каналу к Волге и от Волги суда оказались внизу, почти под колесами машины. Шестые грузовиков прекратилось, сзади тоже не осталось ни одного автомобиля. Так далеко дачники не выезжали.

— Я думаю о том, что никогда по-

настоящему не понимал вас, — ответил Алексей нечаянно для себя.

— Даже когда вы меня любили? — спросила Нонна просто.

Алексей быстро взглянул на нее. Лицо Нонны было спокойно.

— Даже тогда! — Алексей постарался сказать это как можно тверже. Но больше всего меня удивило, как вы могли выдержать жизнь с Бахтияровым. Просто не могу представить это наше постоянное одиночество. Все говорили, что Бахтияров в работе — зверь, что он по неделям не вылезал из подвалов реактора. По моим представлениям, вы должны были убежать от туда через неделю...

— А вот ведь не убежала! — улыбнувшись, сказала Нонна.

Она искоса взглянула на его упрямое, резкое лицо. «А сам то ты, милый человек, будешь ли считаться с женщиной, как бы ты ее ни любил? Ты ведь тоже умеешь торчать неделями в своих подвалах, в своей «преисподней», за своим столом, отгораживаясь от мира частокломом мыслей, стараясь этому миру помочь, но требуя, чтобы мир тебе не мешал... И если твою женщину окажется слабой, она убежит от тебя...» — подумалось ей.

Она сознательно не хотела сказать, как радовалась победам мужа, как праздновала вместе с ним самый маленький успех, как скрывала от него свой страх, когда приходили серии неудач, — почему-то неудачи всегда приходят сериями, а удача так редка! Это было ее личное, спрятанное в памяти, как прятала она от всех того Бахтиярова, которого знала она одна, человека, которым вдруг могло овладеть отчаяние, и тогда она, Нонна, неожиданно чувствовала себя старше его на десять лет, и искала, и находила какие-то такие слова, что Бахтияров снова вспыхивал ровным, светлым огнем вдохновения. Все другие видели в нем только огонь, сомнения видела лишь она. Но обо всем этом она не хотела говорить.

— И еще одного не понимаю, — сказал Алексей, — почему вы вдруг занялись наукой?

— А это тоже Бахтияров! — сказала Нонна, не скрывая грусти.

«Опять Бахтияров, всегда Бахтияров!» с горечью подумал Алексей.

Они снова замолчали. Дорога пошла с крутыми поворотами, негртенек перед глазами Алексея болтался, как сумасшедший. Первый раз Алексей был наедине с Нонной после того далекого вечера, когда она разрушила все его надежды.

Да, она стала совсем другой. Лицо у нее похудело, на щеках нет румянца. И у губ усталые складки. Он вспомнил, что теперь по утрам Нонна выглядела лучше, чем к вечеру, когда кончалась работа. У нее появлялись круги под глазами, а кожа на лице, еще молочного-белая, начинала светиться утомлением, сквозь нее проступала какая-то сероватость, еще легкая, но уже заметная. Вот и сейчас вид у Нонны после вчерашней шумной ночи даже не блестящий.

Впервые Нонна оказалась так близко от него. На виражах плечо Алексея касалось ее теплого плеча, обтянутого мягкой кожей щегольской шоферской куртки. Лицо

Нонны стало грустным, и Алексею захотелось взять ее руку, погладить и сказать какое-то ласковое слово, но память о прошлом мешала.

В тот последний вечер, много лет назад, когда Нонна начисто лишила его всякой надежды, шел дождь. Капли монотонно стучали по подоконнику раскрытого окна, и с улицы пахло сыростью, словно в комнату вползал туман. Были сумерки, но свет Нонна не зажгла. Может быть, так ей легче было говорить, хотя она вовсе не чувствовала себя виноватой или огорченной. Она спокойно смотрела на Алексея, как тот сидел на тахте, судорожно комкая в потных руках носовой платок, не в силах подняться и уйти.

...«Стоп! — сказал себе Алексей — Так дело не пойдет. Ты поехал не по той дороге!»

— Я знаю, вы так и не сумели меня простить, Алеша, — мягко сказала Нонна.

— Зачем сейчас об этом? — Голос Алексея прозвучал непозволительно грубо.

— Извините.

— Я вижу, что вы ведете какую-то игру со мной, но не понимаю ее смысла... — Лицо Алексея ожесточилось, профиль стал еще резче. — Не надо, Нонна, юность не повторяется!

Сказал и выругал себя. Это же неправда. Все повторяется, все! Что бы иначе заставляло тебя ехать сегодня с ней? А не лжешь ли ты сам себе?

Больше они не разговаривали. Вот уже и Волга, а вот и Дубна — город физиков...

Это был аккуратный маленький городок, на улицах которого остался дикий лес и чисто зеленела трава, а за причудливыми заборами стояли двухэтажные коттеджи, в которых жили научные сотрудники Объединенного ядерного института. Впрочем, они жили не только в коттеджах, — за приречной улицей виднелись и другие улицы, застроенные высокими домами, откуда-то доносились паровозные гудки, город раскидывался шире, и становилось все яснее, что наука, которой тут занимались, давно получила полное признание.

В городе пахло Волгой и соснами, и запах этот сразу наполнил машину, словно Нонна и Алексей приехали сюда совсем не по делам, а на пикник.

Было воскресенье, и по улицам шли дубинники — молодые физики в очках-светофильтрах, в пестрых летних рубашках. Они катили коляски с младенцами или несли «авоськи» с продуктами и похожими на маленькие луны апельсинами. Их сопровождали молодые длинноногие жеки с пышно взбитыми волосами, в ярких платьях, и шли они с мужьями под руку, будто все тут были молодоженами.

На улицах слышался смех, дружеские восклицания, а с теннисных кортов доносились удары мячей, слышались команды тренеров, еще дальше гудел отбиваемый волейбольный мяч, а где-то за воротами сухо стучали мячики пинг-понга.

Нонна и Алексей проехали мимо афиш на стендах, возвещавших населению, что сегодня в Доме ученых состоится танцы, а в Доме культуры идет кинофильм «Родная кровь».

Продолжение См. «Огонек» №44 10—18.

Ирина Асанов

СОВРЕМЕННАЯ ПОВЕСТЬ
С ПРОЛОГОМ И ЭПИЛОГОМ

Рисунок Л. Пилипенко.



Показалась небольшая белая гостиница, а дальше, у берега Волги, — новое, яркое, современное здание — геометрические легкие линии и много стекла, красный и зеленый цвета, — отель «Дубна», поворот направо, еще один дом — и резкий скрежет тормозов. «Приехали!»

На скрип тормозов из окна выглянула жена Тропинина. Увидав Нонну и Алексея, вылезавших из машины, захопала, как девочка, в ладоши, исчезла и тут же выбежала из двери.

— Вы к нам? Вот чудесно! А мой сумасшедший убежал кататься на лыжах.

— Какие лыжи? — растерянно спросил Алексей.

— Ах, боже мой, водные, конечно! Вы разве не знаете, что он тут целое общество организовал? Чует мое сердце, сломает он себе шею на этих лыжах! Пойдемте, я провожу вас. Машину можно оставить прямо под окном. У нас не угоняют. — И все это быстро, как из пулемета, и было видно, что она совсем не боится за мужа, а, наоборот, гордится им, как гордится своим городом, и своим домом, и всем этим окружающим их миром.

Одну минуту, я захвачу купальник, — сказала Нонна и принялась открывать багажник.

«Да она действительно приехала на лыжи! — с досадой подумал Алексей — А я, дурак, думал, что ее занимает наше дело...»

Теперь он понимал, что эта женщина — подруга Нонны, а Сергей Григорьевич, — друг Нонны и Михаила Борисовича, и они с удовольствием будут кушаться, болтать о чем угодно, только не о делах Алексея, и досадовал, что въезжал в поездку.

Женщина — Алексей вспомнил, что ее зовут Надеждой, — взглянула на его хмурое лицо, воскликнула:

— Погодите! — и исчезла в доме. Она все делала быстро, решительно, и минуты не прошло, как она опять появилась со свертком и сунула его Алексею.

— Что это? — спросил он.

— Сережкины плавки. Не волнуйтесь, новые. Вы-то за нашими ро-мезонами, наверно, и забыли, что здесь Волга! — И, посмеиваясь, схватила Нонну под руку и пошла вперед так быстро, энергично, словно и не умела гулять, только бежала.

Алексей поневоле поплелся за ними.

Оставшись позади, он все-таки проткнул сверток. Плавки были шерстяные, красные, с голубой каймой, и он вдруг на все махнул рукой, посмеиваясь и над собой и над поручением: «А, черт с ним, хоть выкупаюсь! Когда еще я выберусь на Волгу...»

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ.

А что делать с недобрыми?

Тропинин появился, как морской бог. Сначала показался маленький белый глассер, летевший в бурунах и водной пыли, а далеко за ним на серо-синей волне стоял по лодыжки в воде загорелый до черноты человек и летел вместе с волной так быстро, что казалось, не он передвигается

по воде, а берега, и люди на эспланаде над рекой, и купающиеся внизу, в серой реке, стремительно мчатся назад, приветствуя этого необыкновенного бегуна.

Алексей увидел в руках Тропинина конец длинного троса, а в кипящей воде рассмотрел водную лыжу, одну — дополнительное лихачество, — на которой Тропинин стоял обеими ногами. Нос этого странного сооружения то высывался из воды, то пропадал под ним, и тогда Тропинин резко выгибался, стараясь сохранить равновесие. Так он промчался мимо оживленной толпы, мимо Алексея, Нонны и своей жены, но Надежда что-то крикнула ему, а он — вот странно! — как видно услышал свист рока мотора, плеск волн ее голос, потому что резко махнул рукой мотористу и одинокому пассажиру на катере, сидевшему лицом к Тропинину. Затем Тропинин отпустил конец буксира, сделал неуловимое движение натренированным телом, и лыжа понесла его к берегу. Она еще долго летела по волнам, гонимая инерцией, но потом стала медленно погружаться, и Тропинин прыгнул с нее, ласточкой нырнул в воду, поплыл, и теперь лыжа последовала за ним — он волочил ее на прикрепленном к поясу коротком шнурке. У берега Тропинин стал на дно, вытолкнул лыжу на песок и, осыпанный брызгами, поднялся на бетонную эспланаду.

— А, гости приехали! — весело воскликнул он.

Он и в самом деле походил на полубога, стройный, с крутыми плечами, узкими бедрами. Он протянул мокрую руку Нонне, Алексею, оглянулся на реку, где резко разворачивался катер, на подбегавших к нему молодых людей в плавках и коротко сказал:

— Габор, ваша очередь!

Молодой венгр, такой же широкоплечий, как и Тропинин, но куда выше ростом, — этот на лыжах, наверно, уж похож на бога! — сбегал к реке, установил лыжу и ждал теперь катера, чтобы поймать брошенный с него конец и унести в таком же стремительном водном полете.

Нонна и жена Тропинина пошли в кабину переодеваться, а хозяин, весело глядя на Алексея живыми, в золотых искрах глазами, спросил вызывающе:

— А что же вы?

— Я, собственно, по делу... — неловко сказал Алексей, оглядываясь, куда бы сесть, чтобы поговорить о своем деле. Было как-то странно разговаривать о делах с полуголым человеком. Но в чужой монастырь со своим уставом не ходят — и Алексей, вздохнув, направился к скамье.

Всю веселость словно смыло с лица Тропинина. Он устало присел рядом с гостем, спросил:

— А другого дня, кроме воскресенья, вы для своих дел не могли выбрать? Мы только вчера закончили эксперимент продолжавшийся два с половиной месяца...

— Мы тоже сидели все это время в своей конюшне! — начиная сердиться и на себя и на Тропинина, хмуро сказал Алексей — А теперь нам надо проверять, нет ли в ваших снимках аналогичных явлений.

— Все еще мудрите со своими мезонами?

— Вы ведь тоже ничего нового не открыли...

Эта хмурая пикировка честно определяла отношения между двумя институтами. Если руководители лабораторий интересовались параллельными темами, невольно вступало в силу соперничество. А уж оно распространялось на всех сотрудников, начиная от директора, кончая лаборантом, а то и вахтером. Тропинин невольно усмехнулся, сказал:

— Не будем ссориться! Вон идут наши дамы.

Надежда и Нонна, уже в купальниках, одна в черном, другая в зеленом, подошли к мужчинам. Надежда была смуглая, такая же загорелая, как и Тропинин. Но и Нонна тоже успела где-то немножко загореть. Во всяком случае, зимний бледно-голубой оттенок она утратила. Глядя на Тропинина со смущенным вызовом, словно страшаясь и не желая показать свой страх, она спросила:

— Сережа, поставишь меня на лыжи?

Тропинин посмотрел на нее, потом перевел взгляд на Алексея и насмешливо сказал:

— Тебя — нет, а вот Алексея Фаддеевича — с удовольствием!

— Я не настаиваю! — неловко ответил Алексей.

— А что, это идея! — с усмешкой продолжал Тропинин. — Если вы удержитесь рядом со мной на лыжах, я немедленно вернусь в лабораторию! И мало того — вызову всех своих лаборантов на помощь вам. Согласны?

— Нечестно! Нечестно! — закричала Надежда. — Ты стоишь лучше всех! Не соглашайтесь, Алексей Фаддеевич!

В глазах Нонны Алексей заметил испуг, но она промолчала.

Алексеем вдруг овладела веселая злость. Он понимал Тропинину просто приятно посягать над ним. Тропинин знает его таким, каким Алексей был в институте. неловким, болезненным. И Нонна помнит его таким, потому и боится. А Тропинин открыто издевается. Кто знает, почему Тропинин издевается? Может быть, у него не удался опыт, за которым они сидели два с половиной месяца? Может быть, он, руководитель одной из самых крупных лабораторий, сейчас просто завидует Алексею — младшему сотруднику другого института, которому пока что опыты удаются? Всем известно, что Тропинин только для того, чтобы стать руководителем лаборатории, отдал на растерзание разным административным деятелям института пять или шесть своих работ. Он включал в соавторы кого угодно, лишь бы «соавтор» мог подтолкнуть его поближе к месту под солнцем, куда Тропинин так стремился. А теперь злится на себя за свою мелочность, которая для ученого просто неприлична...

— Ну, как, Алексей Фаддеевич? — с той же усмешкой снова спросил Тропинин. — Или вы предпочитаете сражаться в подвальных комнатах вашего института? Говорят, вы там нашего Кроху совсем затюкали...

«Вот когда ты проговорился! — уже без всякого веселья, с чистой злостью подумал Алексей — Значит, тебе не безразлично, что мы, молодые, как ты считаешь, неперивывшиеся, пытаемся уничтожить ту самую несправедливость, с которой ты примирился?» И, не давая Тропинину взять назад неловое предложение, быстро сказал:

— Я согласен!

Тропинин вдруг нахмурился, на лице его проступило удивление. Он никак не ожидал, что этот «мифизин» — так полупрезрительно именовали работников московского института другие физики — рискнет согласиться. Меж тем за их спинами уже собиравшиеся молодые спортсмены. Они слышали вызов Тропинина и согласие «мифизина» и если и не знали, что ставится на пари — бутылка коньяку или рабочая ночь, — то само пари их явно забавляло. с Тропининым боялись соревноваться лучшие водные лыжники. А тут тютя, бледнолицый простофиля, идет на верное поражение! И действительно, Алексей рядом с Тропининым

Побережье

выглядел бледно. Особенно когда за его спиной зашептались:

— Он свернется в воду через три секунды! Ребята, готовьтесь вытаскивать утопленника! Сашка, подгони спасательную лодку поближе! Кто хочет получить медаль за спасение утопающих?

— Вы хоть плавать-то умеете? — насмешливо спросил рыжий парень в плавках, изукрашенных золотыми рыбками.

— Научусь, когда стану тонуть! — сварливо ответил Алексей.

Сейчас он готов был хоть утонуть.

Но издевательская мысль о том, что его соперник, да и все эти насмешники ничего не знают о той «школе физического здоровья», которую заставила его пройти Вера, тоже гнездилась в голове. Что такое, в сущности, водные лыжи? Это же не слалом. Ну, сбросит на повороте, охуеешь в воду, и только. Разве что растеряешься и не успеешь вовремя отпустить веревку. Тогда, конечно, тебя утащит прямо на дно. Но опять-таки там-то ты веревку наверняка выпустишь из рук. Ну, нахлебаться воды, и только. Плавать-то ты умеешь! А уж если тебя сумели сделать даже слаломистом, так за удовольствие посмотреть на удивленные физиономии Нонны и Тропинина можно заплатить падением в воду.

Он был рад тому, что Нонна молчала. Может быть, она думала, что все это шутка и если не вмешиваться, то кончится она тут же, на берегу. Надежда посмеивалась, но Алексей видел в ее глазах тревогу. Она знала неумный характер мужа, но знала и то, что он должен сам остановиться. А если не остановится? «Загонит он тебя, бедняга!» — вот что читал Алексей в ее глазах.

Между тем Габор почти так же ловко, как и Тропинин, закончил свой забег и подплыл к берегу. Он выволок лыжу на берег и стоял у кромки воды, ожидая следующего спортсмена. До него уже долетели обрывки спора, и он с сожалением посматривал на бледного, худого горожанина. Алексей в этой толпе рослых, загорелых людей в одних плавках и в костюме-то выглядел опшпаненным цыпленком.

Вдруг Алексей ощутил в руке сверток и вспомнил, что это дар гостеприимной хозяйки. Ничего не скажешь, пригодился! Усмехнувшись в лицо Тропинину, он сказал:

— Пойду переоденусь.

Пока он переодевался в будке, галдеж на берегу усилился. Он слышал возмущенный голос Надежды, уговаривавшей мужа. Потом заговорили спортсмены. Тропинин резко ответил:

— Ничего страшного! Пусть выкупаются! Я не обязан работать по воскресеньям! А если ему нужна моя помощь, пусть и сам поработает для нашего удовольствия.

Венгр Габор — Алексей узнал его по лаваному выговору — сказал:

— Не спортивно, Сергей Григорьевич! Тропинин жестко ответил:

— Я не навязывался. Он мог и отказаться! Что он, шутки не понимает?

Габор сказал:

— Я пойду страховать его слева. Ласло пойдет справа. Надо вызвать еще два глассера.

— Может, пригласить сюда всю черноморскую эскадру? — насмешливо спросил кто-то из друзей Тропинина.

Нонна молчала. Скажи она хоть одно слово, Алексей, наверно, бы взорвался. Но она молчит. Она как бы отсутствует. Вероятно, Нонне неловко и за Тропинина и за него, Алексея. Если бы она знала, каким шутством окончится поездка, она бы, наверно, отказалась ехать еще вчера.

Алексей вышел из кабинки. Белокожий, еще ни разу за всю весну не лежавший под солнцем, он был разительно отличен от всех этих веселых, загорелых людей. Он казался слабым, тщедушным, болезненно-белым. Но Габор прежде всего окинул внимательным взглядом его руки и ноги. И вдруг тихо-тихо цокнул языком. И Алексей нечаянно почувствовал друга.

— Ну-с, покажите мне орудие казни! — насмешливо попросил он.

Он видел, что Тропинину неловко. Ничего, Сергей Григорьевич, ешьте кашку, если уж вы ее заварили!

Все гурьбой спустились к воде: нетерпеливые, жаждающие поспрамливания конкурента, — вприпрыжку, Алексей — спокойно, Тропинин с жестким лицом — позади всех. Алексей рассматривал лыжи.

Все-таки ему оказали снисхождение — принесли две лыжи. Тропинин довольствовался одной. Кто-то из помощников Тропинина побежал на стоянку глассеров, там застучали моторы.

Ну что ж, лыжи как лыжи. Короткие, к концу сужены. Под лыжей — киль, начинается от того места, где стоит крепление для ноги, ровным изгибом до конца лыжи, — понятно, для остойчивости. Крепление мягкое, нога входит в проем, можно подтянуть пожестче, чтобы лыжи не вырвались из-под ног. Глассер-то берет сразу с большой скоростью. Но это тебе не горные лыжи, на которых упасть — так можно и ногу сломать. Тут оттолкнешься — и падай в воду, если тебе угодно.

Буксир. Нейлоновый шнур на конце раздвигается, привязан к палке. Берешься двумя руками и попробуй удержаться, когда глассер потащит тебя со скоростью двадцати или тридцати километров. Ежели, конечно, удержишься.

Но уж если упал, так плыви к берегу, а не хочешь плыть — хватайся за эту самую лыжу, она непотопляемое сооружение, глядишь, и подберут.

Тропинин распорядился холодным, недовольным голосом. Ему было уже стыдно за свою вспышку. И на черта ему это состязание? Ну, отказался бы работать в выходной, и все! Или послал этого «исследователя» к профессору Богатыреву, — может, они нашли бы общий язык. Богатырев тоже из таких вот «правдоискателей». Все эти новоявленные святые — неудачники. А там, где неудачники собираются кучно, разговоров хватает. Может быть, Богатырев и просидел бы весь этот день и ночь, чтобы помочь своему духовному родичу...

Да, неловко и нескладно получилось. И зачем этот Алексей — «божий человек» согласился на такой риск? Конечно, когда копка нападает на воробья, тот становится чем-то похож на орленка. Но этот-то разве орел?

Габор со своим приятелем Ласло инструктировали Алексея. Но так как оба владели русским плохо и больше жестикулировали, то Алексей понимал их с трудом. Однако он уяснил, что «секунданты» добились для него послабления: оба лыжника пойдут с причала, с берега ходят только опытные.

Дошлый причал немного вдавался в воду. Алексей посмотрел, как Тропинин уселся на край причала, как он проверил крепление и опустил свою лыжу в воду, и сам повторил весь этот ритуал. Вода была теплая. Хоть это хорошо.

Подошли глассеры. Тропинин ловко поймал брошенный ему конец. За Алексея это проделал Габор и передал в его руки палку. Глассеры пофыркивали, держась на месте. Алексей примерился к палке. Пока все просто; не просто, как он понял из объяснений Габора, — уловить момент, когда глассер двинется, и соскользнуть с причала, сразу становясь на тонущие лыжи. Тут надо суметь откинуться корпусом назад, посылая эти тонущие под тяжестью тела лыжи вперед, а потом уж они выйдут на поверхность. Если, конечно, они выйдут, а не зароятся в воду от неловкого движения.

Подошел третий глассер, за которым должен был идти Габор, чтобы страховать Алексея. Это — Алексей понял, — чтобы он не утонул.

Но вот моторы заработали сильнее, веревка напряглась, кто-то резким голосом командовал. «Пошел!» — и Алексей почувствовал, как его сдернуло с причала. Он вдруг понял, что вода может быть твердой и упругой, как металл, а он только старался не упустить лыжи из-под ног, и они несли его ставшее легким тело, только посвистывала, вспениваясь, вода.

Он только один раз успел посмотреть на

Габора. Габор держался надменно, словно Тропинин нанес обиду лично ему, и казалось, что он почти не касается воды, — летит по воздуху. Но Алексей понял, что Габор все время следит за ним, за его трюком, за его лыжами, которые постепенно оживали, становились похожими на скользких рыб, — вот-вот вывернутся из-под ног, и тогда Алексей свалится в воду.

Один раз он посмотрел на Тропинина, шедшего слева. Это удалось на повороте, иначе Алексей нипочем не осмелился бы отвлечься от своих лыж и трюка. Тропи-



нин опять летел, как водяной бог, но на этот раз какое-то презрение к самому себе угадывалось в его хмуром лице. Алексей даже подумал: Тропинин раскисает, он предложил слишком неравные условия игры. Примерно такие же, какие предлагал им Михаил Борисович Красов, когда советовал включить в список соавторов Кроху. Михаил Борисович играл наверняка. Он знал, что им надоест вечно оставаться младшими научными сотрудниками и они махнут рукой на все: Кроха так Кроха, все равно кто-нибудь навязается!

Он не успел как следует продумать эту мысль: в воде что-то произошло, она стала горбатой, лыжи летели словно по выбоинам и рытвинам, как будто Алексея без подготовки поставили на слаломную трас-

су — крутись, вывертывайся, владей не только ногами, но и всем телом! Он еле успел рассмотреть, как человек на глассере, что сидел лицом к нему, начал подавать какие-то сигналы, и, увидев полоску совсем черной воды, подумал «Как на море во время шторма»... Тут катер резко взял вправо, Алексей выгнулся всем телом влево, чтобы его не сбросило в воду, берег, отстоявший где-то далеко позади, вдруг снова приблизился, в спину ударил ветер. Он был холодный и мгновенно остужал мокрое, все в брызгах тело, затем катер еще прибавил

Слова эти, произнесенные страстно и уверенно, словно подхлестнули Алексея. Он с усмешкой покачал головой: «Нет, нет, нет!» — и только половчее перехватил свою палку. Теперь он внезапно стал все видеть: берег, мимо которого они летели, Ночну в зеленом купальнике, стоявшую у самой воды с протянутой к катеру рукой, Надежду, махавшую платном мужу и что-то кричавшую, настороженную и теперь молчаливую толпу спортсменов, — я снова все это исчезло. Габор, подобранный еще ближе, крикнул: «Ждет поворот возле канала!» —

заорал командирским голосом: — Отпускай! Я приказываю! — и ударил локтем по руке Алексея — Есть время! Пошел! — И Алексей помимо воли расслабил затекшие руки, трос скользнул, присвистнув, извиваясь, словно змея, и исчез, а тело постепенно становилось все тяжелее и грузнее, вот уже лыжи перестали держать Алексея, они уходят из-под ног в воду, и Алексей косо плюхнулся в волну, она холодна и мутна, но до берега так недалеко, что можно не торопиться.

У берега его догнал тоже отцепившийся



ход, и Габор, закричав: «Неправильно!» — вдруг исчез, словно провалился под воду вместе со своими лыжами. А когда Алексей успел уравновесить тело и сумел оглянуться, Габор почти лежал, откинувшись навзничь и показывая кулак мотористу. Но вот он выпрямился после этого коварного поворота и с усталым, посеревшим от внезапного холода лицом поравнялся с Алексеем, что-то крича, показывая одной рукой на берег. Потом, досадую, что Алексей не слышит его за рокотом мотора и свистом ветра, начал быстро перебирать свой трос обеими руками, пытаясь подтянуться поближе, и вдруг произнес отчетливо и ясно

— Отцепляйтесь, Горачев, они вас утонут!

и затем приспустил немножко свой трос, чтобы не помешать Алексею на этом опасном повороте, и тут глассер снова пошел в сторону, как взбесившийся конь, а Алексея опять понесло на вожжах через ямы и колдобины, так что судорожно напряглось все тело, по сердцу хлестнул страх, а ноги заплясали какой-то не очень ритмичный танец. На мгновение Алексей опять увидел лицо Тропинина, теперь уже просто злое...

И опять все полетело обратно, только теперь тут были домики паромов, лодки, рыбаки, и уже снова появился розовоголубой призрак отеля на берегу и мелколикая толпа, и опять Габор подобрался совсем близко и крикнул:

— Он играет не по правильно! — и, ухватившись одной рукой за трос Алексея,

Габор, выхватил из рук Алексея лыжи, закричал:

— В третий кабинет! Там мой полотенца! Сильно вытираться, гореть!

Алексей не обратил внимания на то, как молчаливо расступились перед ним загорелые молодые люди. Выбравшись на бровку эспланады, он оглянулся: далеко, на горизонте реки, упруго согнувшись, словно стальной клинок, скользнул лыжник. Вяло подумал: «А неплохая разрядка! Надо будет попробовать как-нибудь!» — но тут его внезапно качнуло, словно он слишком много выпил, и он с трудом различил сквозь наплывающую темноту цифру «3» на ближайшей кабине. Эта кабина избавила его от позора.

Продолжение следует.



Капитан ледокола «Москва» Леонид Федорович Ляшко.

Ледокол потерял сразу четверть своих сил. Глазех Виталий Боярский спустился в машину. Здесь уже были его дублиер Николай Якименко, старших Евгений Никифоров, дублиер старшего механика Леонид Анникин. Инженеры с полуслова поняли друг друга. Второй механик Геннадий Иванов вскрыл люк. С трудом протиснувшись внутрь, нащупал пальцами трещины: «Можно заварить».

Из картеров удалили масло, проветрили их, приготовили огнетушители, ведра с водой, песок: мало ли канал бада случится. Моторист Валентин Ворона взял сварной аппарат, прикрыл маской лицо.

— Ну что ж, начинаю... И голубовато-оранжевый маскар испр разлетелся в стороны.

Через три часа Анникин и Никифоров доложили главному:

— Все восемь можно выключить в

— Вызвет и тяжелее, — говорит капитан Леонид Федорович Ляшко. Несколько минут назад он получил радиоприказ с ледокола «Адмирал Лазарев» от капитана-наставника Инюшкина. Обстановка в

человека. В тридцатом с бригадой лесорубов из Мордвини приехал на Сахалин. Валил лес, строил бараки для немоселов, а потом учил раб-тишек географии в школе. В тридцать третьем стал гидрологом-наблюдателем в комплексной экспедиции крупнейшего советского ученого-ихтиолога Петра Юльевича Шмидта. Затем вместе с Михаилом Михайловичем Соколовым, ныне доктором наук, Героем Советского Союза, исследовал Охотское море. В годы войны был штурманом на торговых судах, а после войны снова сел за парту — окончил институт и в пятьдесят первом защитил диссертацию.

— Пеннинская губа, — говорит Бирюлин, — настоящая фабрика льда. Низкие температуры способствуют его образованию, а постоянные ветры выжимают лед в Охотское море. Там он быстро растает, становится многослойным и движется на юго-запад. Вот почему парад Тайфунской губой, в глубине которой находится бухта Нагаево, корабли всегда встречают поиска торосов. Но не сегодня-завтра надо ждать штормовых ветров. Они

— Сметает, — замечает Гавриил Михайлович Бирюлин, поднимавшийся в рулевую рубку.

За час пробиваемся всего на три мили вперед. Ледоколу приходится прокладывать двойной, а то и тройной канал, чтобы лед расступился, дал дорогу.

Ветер усилился. Пошел снег. Теперь уже не видно и «Манзовку», а она всего метрах в семидесяти позади нас. Почти через каждый час ледокол возвращается и наравану высвобождать корабли.

— И впрямь дьявольская сила у этих льдов! — хмурится капитан. — Пожалуй, в Арктике было легче разбиты.

— «Москва», я «Анадырьлес!» — слышится взволнованный голос в динамике. — Движения не имею. Руль вышел из строя... Пытаемся определить повреждение...

На мостик вызывают главного механика ледокола. Боярский подходит к радиотелефону и дает несколько практических советов своему коллеге на теплоходе, что нужно сделать.

— Вас поняли, — отвечают Бояр-

Трудные мили

К. РЕНДЕЛЬ

Вот эта точка на карте Охотского моря — координаты 58°36' северной широты и 153°40' восточной долготы. Здесь корабли назначили свидание. К судам, вышедшим из Нагаево и беспомощно застывшим во льдах, шла «Москва», флагман ледокольного флота Дальнего Востока.

В капитанском салоне во всю стену — карта Северного Ледовитого океана. Острова, моря, очертания материка, проливы... И на скользящем строке в левом углу карты: «22 тысячи лошадиных сил линейного ледокола «Москва» готовы к борьбе со льдами Арктики». Но на этот раз ледоколу «Москва» предстояла схватка с «белым дьяволом» не в высоких широтах, а гораздо южнее, у пятидесяти четвертой параллели. И не в Ледовитом океане, а в Охотском море.

В былые времена «валютный цех» страны — Колыма — с ноября до лета оставался отрезанным от Большой земли: прекращалась навигация.

Теперь и зимой не пустуют причалы Нагаевского порта. Везут корабли в своих трюмах на Колыму буровые станки и автомашины, уголь и свежие яблоки, оборудование для рудников и приисков, товары для магаданцев. А путь кораблям во льдах прокладывает «Москва». Навигация не прекращается ни на один день. Только называют ее в эти месяцы зимней.

...Прогрохотал взрыв. И почти тотчас в динамике раздался го-

— Я борт пятнадцать двадцать восемь! Как слышите? Двигатель... Возьмите двадцать градусов вправо... Еще правее... Вот сейчас хорошо!

Совсем низко над мачтами «Москвы» пронесся серебристо-оранжевый самолет. И учался к горизонту, туда, где поймаи торосов, словно гигантский надолбам, оцетниклась ледовая крепость. Сегодня, как и вчера, как два и три дня назад, «ИЛ-14» корректирует штурм белых бастионов.

На карте ледовой обстановки изломанным линией торосов. Внимательно высматривает аэназаведия, ледокол обходит самые «укрепленные районы», а там, где это невозможно, где другого пути нет, устремляется на приступ. Ледяные «форты» взрывают толлом Порой мощности весны дизелей не хватает, чтобы ледоколу сдвинуться, отойти назад.

Восемь дизелей... А несколько часов назад их оставалось только шесть. Два вышли из строя. Металл не выдержал напряжения.

северной части Охотского моря быстро ухудшается. До подхода ледокола «Москва» его работу в этом районе выполняет «Адмирал Лазарев». Но «старину» такая сложная проводка судов уже не под силу, он застрял вместе с караваном.

Ляшко берет циркуль. Измеряет расстояние до точки, где назначено свидание кораблей. Еще двести серок миль. А погода портится. Значит, нельзя будет подняться в воздух вертолет, чтобы отыскать кратчайший путь между цепями торосов.

— Что день грядущий нам готовит? — улыбается капитан, обращаясь к гидрологу Николаю Бубнову.

Бубнов — ветеран ледокола «Москва». Он здесь чуть ли не с того дня, когда флагман пришел с Балтики на Дальний Восток. Вместе с Ляшко они открывали зимние навигации в Нагаево.

Бубнов молча разглядывает карту ледовой обстановки, принятую из Магадана по фототелеграфу. Вся она испещрена кружками и треугольниками: условными знаками показана толщина льда, его возраст, подвижность.

— Ничего утешительного, — вздыхает гидролог. И с тоской смотрит на карту. Там, на палубном аэродроме, стоит зачехленный вертолет. Самому бы подняться в небо. Отыскать полетом «тропинку»...

Ляшко собирает «военный совет». Приглашает ученых Арктического института, сотрудников Дальневосточного научно-исследовательского гидрометеорологического института и нас, журналистов. Показывает карту.

Первыми на совете говорят самые молодые и младшие по должности. Потом все ждут, что скажет старейшина — кандидат наук Гавриил Михайлович Бирюлин.

Интересная биография у этого

оторвут дрейфующий лед от припайного. Пройти и кораблям будет легче.

Прогноз Бирюлина оправдался. Когда утром мы поднялись на мостик, впереди по курсу ледокола чернели разводья.

На экране локатора — три серебристые точки. Это корабли, которым нужно на юг, корабли, идущие ледоколу. Вахтенный штурман Валентин Родченко протягивает бинокль капитану.

— Взгляните, Леонид Федорович. Слева — «Анадырьлес», справа — «Алтайлес», в центре — «Манзовка».

«Москва» приближается к каравану. Теперь уже и без бинокля можно прочитать названия судов. Возвращаются они из Нагаево, куда доставили машины и оборудование. Корабли усиленного ледового класса. Но в таких льдах им самим не пройти.

— Я ледокол «Москва», — говорит Ляшко в радиотелефон. — Возьли караван под проводку. Сообщаю порядок следования. Первой за «Москвой» пойдет «Манзовка», за ней — «Анадырьлес».

«Москва» обходит караван, обкалывает беспомощно застывшие во льдах теплоходы и уходит вперед.

Погода быстро портится. Тонет в белесой мгле караван. И лишь силуэт «Манзовки» темнеет за кормой «Москвы».

Радиотелефон не выключается ни на секунду. Слышно, как переговариваются между собой капитаны теплоходов, предупреждая об изменении хода. «Анадырьлес» то и дело отстает, заплывивается.

Ледокол оставляет «Манзовку» и идет обкалывать «Анадырьлес». Проходим в нескольких метрах от него. Проложенному ледоколом каналу, по которому только что прошли два корабля, словно и не было.

скому. — Перейдем пока на другой носок.

Наступает ночь. Метель никак не утихнет. Мощные прожекторы бросают голубые снопы света на лед. Мерцают зеленые и красные ходовые огни. Дикий треск и грохот разламывающихся льдин. Сметает продолжаться. На «Анадырьлес» трещат шпангоуты. Что-то случилось с рулевым управлением на «Манзовке»...

Каким же мастерством нужно обладать штурманам-ледоколовщикам, чтобы в такую вот ночь пройти под самым носом или кормой застрявшего во льдах судна и не задеть его!

— «Манзовка!» Я «Москва». Говорьте буксир, возьмем вас в «усы».

— Вас понял.

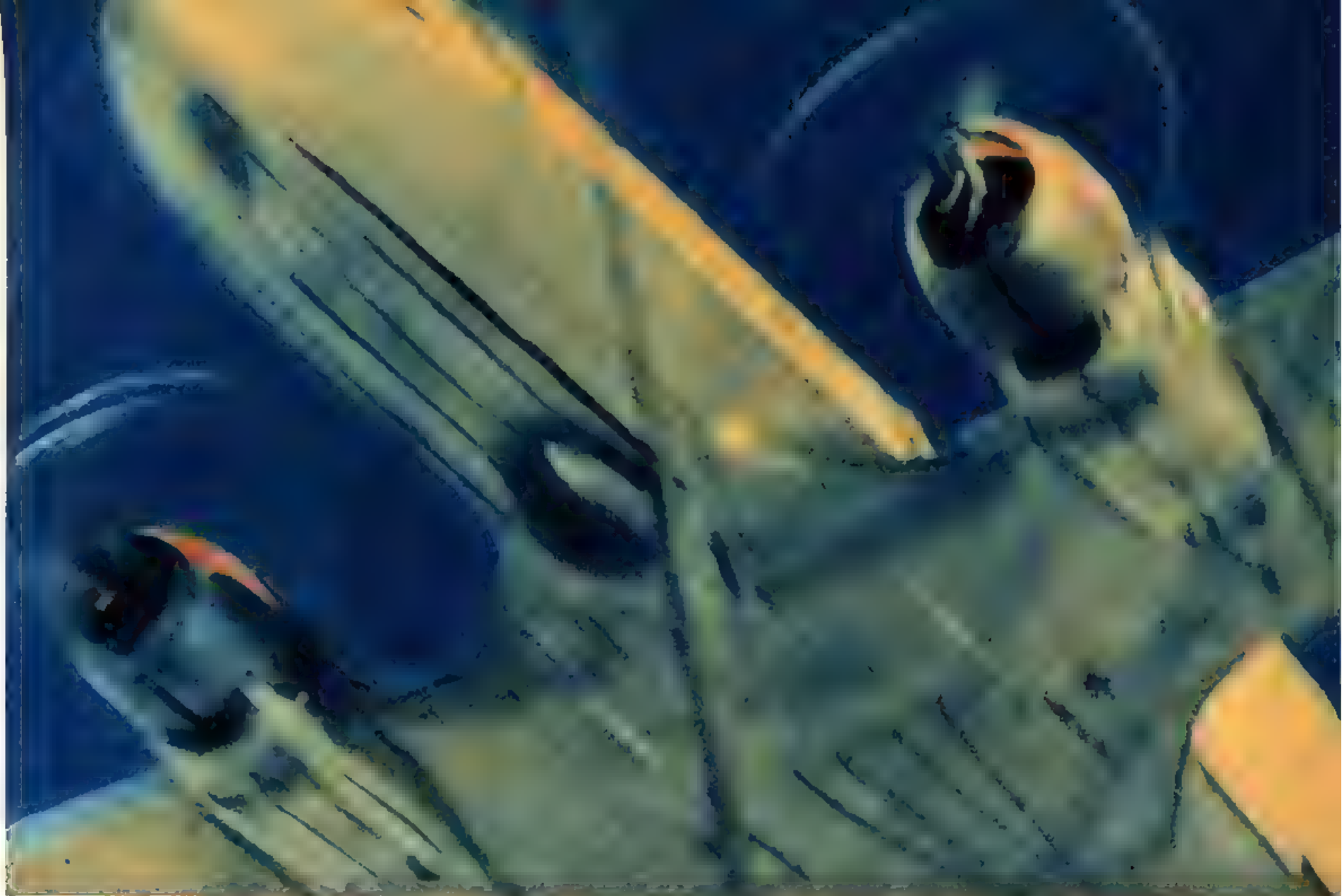
Ледокол ведет теперь теплоход на буксире. Через несколько часов таким же путем переправляется через полосу тяжелого льда «Анадырьлес». Но прежде чем «выпустить» его из «усов», по штурману, расчищающему над ледяным крошечным, обкалываемым канатами, карабкаются на палубу теплохода главный механик ледокола Виталий Боярский и его дублиер Николай Якименко. Надо наладить рулевое управление на «Анадырьлес».

Через два часа Боярский и Якименко возвращаются на ледокол и докладывают:

— До порта теперь дойдут, а там «подлежат».

Все чаще встречаются разводья, трещины в белых полях убегают на юг. Наконец впереди, на горизонте, показались голубая полоска. Чистая вода!

Караван прощается с ледоколом «Москва». Дальше корабли пойдут сами. А ледокол уже ждет «Аргоны» и «Малославца». Их надо провести в Нагаево.



Над ледоколом «Москва» проносится серебристо-оранжевый самолет ледовой разведки.

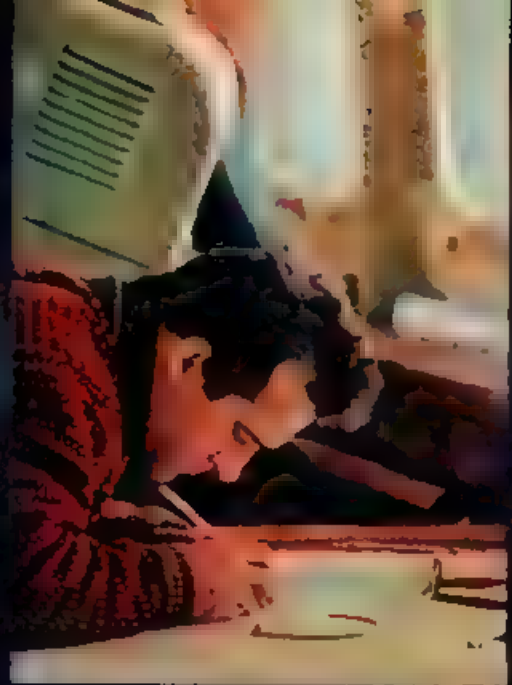
Главный пост корабельной связи — радиорубка.

Фото Г. Колосова.



Ледоход «Москва».





И ночью не прекращается про-
водка судов сквозь льды Охот-
ского моря.

Вверху: гидролог Николай Бубнов.
Мина Беликова и Люда Тимонина
в корабельной пекарне.



Разгрузка кораблей в морском порту Нагвез.

Палуба ледокола — царство льда и снега.



Голос оливы

Петрос АНТЕОС

Греческий поэт Петрос Антеос родился в 1920 году Семнадцатилетним юношей у себя на родине связал он свою судьбу с коммунистическим движением. К тому времени относится и начало его поэтической работы.

С 1949 года Петрос Антеос живет в Советском Союзе. Здесь на русском языке издаются его книги: «Улыбка Греции» (стихи, 1960) и «Трагедия Греции» (публицистика, 1963). В ближайшем будущем издательство «Советский писатель» выпустит книгу стихов П. Антеоса «Голос оливы».

АПРЕЛЬ

Апрель.
И металь.
И, быть может,
В каждой
звезде снегопада —
Душа того дня,
что пробжит
С тобою в разлуке...
Ветер
И снег — моя жизнь...
Ветер — в лицо...
На светал
Апрель, который я снова
В разлуке с тобою встретил,
Апрель мой,
моя Эллада.

* * *

Что ж ты, жизнь моя,
жизнь!
Ты, по милости бури и бедствий,
Уцепилась корнями
от края родного

Сколько б гнездышек птичьих
приют у тебя ни нашли,
Скольким песням
в ветках твоих горьких ни петься,
Все ж от участи дерева
тебе некуда деться...

Кто слышал, чтобы корни
обернулись крылами
могли,
Чтобы корни, плеснув,
унесли тебя
в небо и детство!
Перевела с греческого
Ю. Нейман.

ТОТ, КТО БОЯЛСЯ ВЕЩЕЙ

Труссы боятся своих врагов.
Нагодая боятся своих друзей.
А он боялся вещей. У них,
Говорил он, есть свойство тебя окружать,
Брать в плен, не объявляя войны.
Он знал, что те, которые пленены,
Были, пожалуй, сильнее его.

Он оборонялся. Он говорил:
Другие не знали, их сбили с толку,
Они добились сосуществования...
Какое может быть сосуществование?
Его не обманут словами, речами.
Нет мирного сосуществования с вещами.
Они тебя все равно захватят.
У них есть свойство, он говорил,
Нацеливаться на слабое место,
Притворяться мирными или нейтральными.
У них нет легких, они не дышат,
Но зато их вещественная природа
Отбирает твою часть кислорода —
Днем от дел, ночью от сна...
Как троянских коней, их впускают в крепости,
И бесславно сдается любой Иллион...
Попытался я выстроить дом, говорил он.
Чем выше дом, тем ниже я сам.
Я стал расплюснутым, как черепаха,
Я распластался на своем клочке,
Я продавал за чужеземную похлебку
Землю, небо, созвездья...

Однажды
Я видел, как корни пускает шкаф,
Крепкий корень, ореховый корень
Вгрызлся в пол...

И успокоился.
А если позволить, говорил он,
Вещи размножатся, заполнят пространство,
И нельзя будет двигаться, мыслить, летать...

Перевел Д. Самойлов.

ЛАТВИЙСКОМУ НАРОДУ

Хотелось бы с тобой мне говорить,
Беседовать на языке твоём,
Чтоб ты меня свободно понимал,
Народ голубоглазый,
Рыболов,
Искатель правды,
Песенник,
Певец.
Едва ты запоешь «Вей, ветерок»,
Сам Райнис улыбается тебе
За соснами на взморье,
Ибо знает,
Какие паруса наполнит песня.

С тобой,
О Революции стрелок,
Чья тетива сейчас еще трепещет

От выстрела последнего,
Трепещет,
Нацелившись в Направду всей земли.

С тобой,
Народ холмов своих зеленых,
Где лунными ночами неизменно,
Как волшебство, творится хоровод.

С тобой,
Народ серебряных озер,
Что созданы природой специально,
Чтоб отразить прекрасное лицо,
Лицо твоей извечной доброты.

С тобой,
Народ, родившийся у моря,
Где, словно на бушующей ерени,
Проходит испытанье твоя сила,
Морская удаля и морская слава.

С тобой,
Гостеприимнейший народ,
Народ веселый.
Если б Даугава
Вдруг не водой наполнилась, а пивом,
Ты б осушил ее, наполнив кружки,
Ты выпил бы ее с друзьями вместе.

С тобой,
Народ, чьи золотые руки
Искусно песню в кружево вплетают
И валяют на груди своим подругам
Горящие кусочки янтаря,
В которых солнце плавится, гора.

Хотел бы я,
С тобою говоря,
Понятным быть тебе без перевода,
И потому, желая тебе счастья,
Я по-латвийски восклицая: «Лайме» —
И по-латвийски восклицая: «Палдьес», —
Когда хочу сказать, сказать тебе спасибо.

* * *

Лучше быть с теми,
Кто строит
В тридцатиградусные морозы,
Строит не рай,
А просто свой дом,
Чтоб укрыть в нем своих детей
И свой урожай,
Чем с теми, кто плачет
Над обугленным попелищем
На рая потерянном,
А тела своего
И души!

Перевел Ю. Литвинов.

О Д Н А Л Ю Б О В Ъ

Только прочитав эту книжну до конца, услышишь по-настоящему, с какой силой звучит ее заголовок — «Север мой».

По-разному горит костер — то вымахает легким языком вровень с соснами, то словно сожмет свою огненную силу в кулак, пламенеет под углями. Есть у Семена Данилова стихи, где эта его лю-

бовь, что называется, прямо декларируется: «Ты всем мне дорог, край родной, не только радостью одной». А есть стихи, где не выразишь ни одного восклицательного знака, но и они горячи: любовь живет в самом разрешении темноты, в самом поэтическом образе. И образ светит ей.

Маяковский говорил о земле, с которой пойдешь на жизнь и на смерть. Его слова могли бы стать точным эпиграфом к книге одаренного якутского поэта. Образ земли, которую поэт Данилов, предельно конкретен и осязаем. Здесь «выюги мчатся нагролом, рога у нелелей ломая». Здесь уж если дорога, то она забирает человека целиком («И только в минуту покоя глаза моего ребенка, бывает, приснятся мне»). Возможно, только в тундре приходит к поэту такой эпигет, какой Данилов нашел для первых цветов — «неукротимые» («Сивозь

толщу вачкой марзлоты, как выстрел, выбившись наружу, неукротимые цветы стоят и в непогоду и в стужу»). Нужно знать, какими бывает рассвет, наступающий после долгой полярной ночи, чтобы сказать: это было так, «словно краешек небес коснулось спящей девушкины дыханья». Есть метафоры, не просто слетающие с пера, — их прежде надо добыть на земле, которую беззаветно любишь.

Читатель, которому Данилов известен по другим сборникам, в этой книге его шире, наверно, отметит одну интересную особенность: она позволяет судить, как ярко за последние годы поэт расправился в жанре интимной лирики. Особенности, важная не только для творчества самого Данилова, но и для якутской поэзии вообще. Даже не будучи лингвистом, ясно поймешь благодаря этой книге, почему и в русском языке и в якутском слово

«любовь» имеет только единственное число. Наверно же, потому, что и родной край, и твоё мировое дело, и твоё любимое — это все одна любовь.

Джульетта — якуточка, Нюргусун моя нажмал! — звучат первые строки стихотворения, посвященного покойной Вероникой Тушновой, которой был близок талант Данилова и которой принадлежат лучшие переводы его стихов (над ними в сборнике работали и другие видные поэты — С. Липкин, Я. Смеляков, М. Львов, Р. Рождественский, Д. Ковалев). Это стихи о прошлом, о сегоднейшности, о любви, равной самой жизни. Книга прочитана, а все еще слышится проникновенный голос поэта:

Онаывается, не стареет,
Не седеет, не умирает
Одна любовь настоящая...

В. ЛИТВИНОВ

Семен Данилов. «Север мой». Стихи и поэмы. Издательство «Художественная литература». 1965 г.



«У меня характер знойной», — поют девушки... После эта, «Балалаечка», рождена здесь же, в народном ансамбле песни и пляски. Слова ее сочинил слесарь Иван Маслов. Вот он читает стихи.

П. ВОЛКОВ

Фото Е. УИНОВА.



Каждый вечер зажигает огни Дворец культуры горьковского автозавода. Сегодня идет «Отелло» — спектакль народного театра; завтра — большой концерт; послезавтра — вечер отдыха... Тысячи полторы-две автозаводцев с семьями (а по субботам и воскресенье) приходят сюда отдохнуть.

Здесь двадцать три коллектива художественной самодеятельности. На все вкусы. Своей самодеятельностью Дворец славится не только на весь город и область. Летом, например, во время гастрольной поездки по Волге артистам автозавода аплодировали жители Казани, Ульяновска, Волгограда, Астрахани... А народный театр не раз показывал свои работы в Москве, выступал в Кремле и по телевидению.

Слесарь главного конвейера завода Иван Васильевич Маслов, поэт, студент-историк четвертого курса Горьковского университета, человек разносторонних интересов и давний участник художественной самодеятельности, является показателем во Дворце все самое интересное.

В красивых золотисто-черных нарядах на сцене большого зала репетируют танцоры. Лихая пляска «Подсолнух». Женскую группу ведет невысокого роста девушка; стройная, подбритая фигурка, отточенные движения. Все выдает в ней опытную и даровитую танцовщицу. После репетиции знакомимся. Ее зовут Рита Прошкина.

Судьба девушки очень характерна для автозаводской молодежи... Двенадцати лет Рита пришла в самодеятельность. Работая на заводе, она окончила автомеханический техникум и стала старшим плановиком. Мечтает поступить в инсти-

тут. Это тоже показательно... Но особенно признает, что девушка танцует не только для своего удовольствия, но также приносит радость зрителям; профессиональные знания и навыки, полученные в ансамбле, Рита передает другим — руководит хореографическими коллективами в двух цехах завода. Оказывать творческую помощь стало доброй традицией самодеятельности Дворца культуры.

Товарищ Рита по ансамблю, слесарь Юрий Суханов тоже руководит самодеятельностью в цехе.

Воспитанники студий изобразительного искусства преподают в художественных школах и кружках Автозаводского района. А рабочий Владимир Торченко и инженер Вадим Дубинский, артисты народного театра, связаны с драматическими коллективами цехов.

Дворец не только опекает все сто двадцать четыре заводских художественных коллектива, но и шефствует над тремя отдаленными районами области. Посылает туда агитбригады, дает костюмы, реквизит, музыкальные инструменты...

В просторной аудитории занимается академический хор — один из известнейших в Горьком. Руководит им Георгий Павлович Муратов, несколько лет назад он окончил с отличием Московскую консерваторию.

Выразительность исполнения, стройность и красота звучания великолепного любительского хора, пожалуй, не уступают лучшим профессиональным. Певцам по плечу такие сложные произведения, за которыми не всякий возьмется. Не так давно, например, держали подготовить с органом и оркестром полностью «Патетическую ораторию» Г. Свиридова.

— Сейчас перед нами задача не менее трудная, — замечает Георгий Павлович. — И летним гастролем готовим кантату П. И. Чайковского «Москва».

— Хотите посмотреть самую оригинальную и самую самодельную из всех наших самодеятельных студий? — предлагает Иван Маслов.

Мы, разумеется, соглашаемся. Собрались однажды несколько молодых ребят с автозавода, знающих с изысканным и редким искусством пантомимы, пожалуй, больше, чем слышали. И принялись на свой страх и риск осваивать его основы, сообразуясь лишь с указаниями затрепанной до дыр старой книжки. Вначале не получалось, потом пришли первые маленькие успехи.

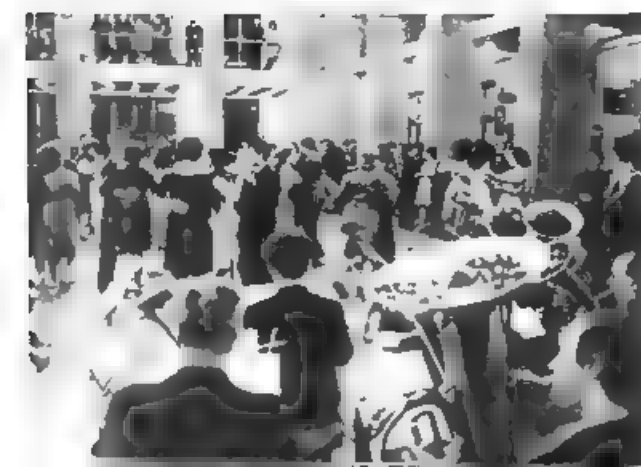
«Перетягивать канат», «ходить против ветра», «по лестнице» и некоторым другим забавным и красивым номерам они мало-помалу научились. Выступления их на концертах проходят под дружные аплодисменты. Теперь готовят целую композицию — «Горящее сердце Данно».

Однако им до сих пор не удается перетянуть к себе из Москвы знающего педагога. Вот и приходится семнадцатилетнему токару Валерию Мартынову, пареньку, безусловно одаренному, но далекому от опытного, руководить своими товарищами, полагаясь в основном на интуицию.

Днем — у станка, на конвейере, у музического пресса, за чертовой доской вечером — в балетной студии, на репетиции нового спектакля, в хоре, за польбертом. И как Она сливается с Волгой, так сливается воедино труд этих людей на производстве и жизнь их в искусстве.

ТЕЧЕТ ОК

Субботний вечер. Мадь и нежность. Вечно юный вальс.



Два альта, два сопрано — и один, общий всем четверым, задор.



У подмостков Искусства.





А В В О Л Г У

«Мимы» на репетиции.



Вступают скрипки...



же нависло над землей. Стал срываться редкий снежок. Длугач шел, поворачиваясь к ветру боком, старательно обходя промерзшие суглинистые кочки.

На развилке дорог, когда уже показались крайние хаты Огнищанки, он увидел человека. Сутулясь, приподняв барашковый воротник полушубка, человек медленно шел навстречу Длугачу и пристально всматривался в него.

«Кто бы это мог быть?» — подумал Длугач и узнал Тимофея Шелюгина. Солдатский ремень туго стягивал его полушубок, за ремень был заткнут топор, а на плече, пережатая узлом, лежала веревка. Красивое лицо Шелюгина было бледно, губы под рыжеватыми усами плотно сжаты, а глаза казались пустыми.

Увидев Длугача, Шелюгин остановился и сказал:

— Здорово, Илья.

— Здоров, Тимоха, — ответил Длугач.

Шелюгин глянул на тонкую линию потухающей зари, проговорил глухо:

— Мороз, должно, покрепчает.

— Да, видать, покрепчает, — согласился Длугач.

— Может, перекурим? — спросил Шелюгин, исподлобья поглядывая на Длугача.

— Давай перекурим...

Они сошли с дороги и сели на пенёчках один против другого. Когда-то до войны Казанный лес доходил тут до самого развилка дорог, потом его стали рубить, а после революции

СНЕЖНОЙ, МОРОЗНОЙ НОЧЬЮ

Он ждал этой ослепительной вспышки огня, страшного грома, неминуемой смерти и потому, чуя, что смерть уже за спиной, перед самым выстрелом рванулся вправо, на секунду припал к холодной земле и резкими скачками понёсся к синеющей опушке леса. Картёчь слегка обожгла ему левый бок, но он не почувствовал боли и не умирал бега до тех пор, пока густая чаща молодого подлеска не скрыла его. И на этот раз одноухий волк спасся от гибели.

Добежав до гребня поросшего терновником оврага, он присел, насторожил острое ухо, тревожно оглянулся. Вокруг никого не было, только шумел ветер. Волк разомкнул челюсти, высунул язык, несколько раз ткнулся носом в бок, разыскивая нюхующую боль под левой лопаткой, потом стал лизать снег. Мелкий сыпучий снег недавно выпал и, разнесенный ветром, редкими пятнами лежал по яростному краю оврага.

В длинном извилистом овраге одноухому волку были знакомы каждый куст, каждая протоптанная зверями тропа. Тут, в крутой отрожке, под корневищем сухого вяза, скрытое буреломом от людских глаз, темнело глубокое логово, в котором рождались предки одноухого волка, родился он сам и родились его дети. Никто не знал, сколько зарезанной в свирепых набегах живой твари — овец, телят, гусей, кур, зайцев, собак — было съедено вдалеке от потаенного темного логова вечно голодным, ненасытным родом одноухого волка. Лишь раскиданные по кустам и каменистым ложбинам белые кости оставались памятником кровавых пиров.

Тяжело поводя боками, волк посидел немного, еще раз осмотрелся, втянул ноздрями морозный воздух и пополз в логово. Тут, в темноте логова, его охватили издавна знакомые запахи горьковатых сухих трав, сдланной шерсти и сырой земли. Он с трудом повернулся в тесном логове, прерывисто вздохнул и, положив на лапы лобастую голову, закрыл глаза...

— Ушел, проклятый, — сквозь зубы сказал Длугач, закидывая за плечо старое одноствольное ружье. — Теперь его сам черт не найдет...

Вечерело. Хмурое, неласковое небо низко клубилось над пустыми полями, ветер нес по дороге белесые клочья поземки, но на западе, на краю лесной опушки, багряной полосой светился неяркий закат.

«Мороз будет крепчать, — зябко поживаясь, подумал Длугач, — а у меня дрова в сельсовет не завезены».

Он вспомнил о том, что на завтрашнее утро в сельсовете назначен общий сход граждан, на котором председатель уездного исполкома Долотов должен делать доклад о коллективизации и высылке из Ржанского уезда кулаков. Длугач знал, что в Огнищанке к раскулачиванию и высылке намечены двое: Антон Терпужный и Тимофей Шелюгин. К этим двум людям председатель сельсовета Длугач относился по-разному: прижимистого, хитрого и злого Терпужного яростно ненавидел, а смиренного, работающего Тимоху Шелюгина втайне жалел.

«Чурбак дурноголовый, — шагая по дороге, думал он о Шелюгине, — в Красной Армии служил, кровь за Советскую власть проливал, а потом заез по самую глотку в воловьё дерьмо и человека в себе убил».

— Хрен с тобой! — сердито сказал Длугач и сплюнул на дорогу. — Сам знал, на что шел, теперь, брат, рассчитывайся как положено...

Запахнув шинель, он пошел быстрее. Заря притухала, тускнела. Пасмурное небо еще ни-



на огнищанском холме остались только черные от палов корявые пни. Длугач вынул кисет, неторопливо протянул его Шелюгину.

— Кури.

Тимофей стал свертывать сигарку. Пальцы его дрожали, махорка сыпалась на полушубок.

— А ты куда это на ночь глядя?— спросил Длугач.

— За дровами,— сказал Шелюгин, ломая спички одну за другой и тщетно пытаясь прикурить.— В хате холодно, хоть собак гоняй. Длугач хотел было сказать Шелюгину, что дрова ему больше не понадобятся и что он напрасно будет топить свою хату, но вместо этого сказал.

— Руки у тебя, андаты, замерзли, давай я прикурю.

Оба жадно затянулись крепким, обжигающим горло махорочным дымом. Ветер прихит. Снег пошел гуще. В Огнищанке зажегся первый огонек.

— Чего я хочу спросить тебя, председатель,— покашливая, сказал Шелюгин.

Длугач остро глянул на него.

— Не знаю. Спрашивай.

Шелюгин опустил глаза, проговорил тихо:

— Слух есть, что... это самое... что кулаков из уезда куда-то в Сибирь выселять будут.

— Ну и что?— спросил Длугач.

Пустые глаза Шелюгина блеснули и потемнели.

— Слух такой есть, что и меня в этот список включили.

Длугач отвернулся, запытал сигаркой.

— Этого я не знаю.— помолчав, сказал он.

— Как же так не знаешь?

Шелюгин глянул прямо в глаза Длугачу. Длугач выдержал его долгий, полный намой укоризны взгляд. Он не мог сказать, что в списке раскулачиваемых огнищан вторым значится Тимофей Шелюгин и что через три дня его, Шелюгина, под конвоем поведут на станцию, погрузят со всей семьей в товарный вагон и увезут неизвестно куда.

— Вот так. Не знаю, значит,— хмуро сказал Длугач.

Обжигая пальцы, Шелюгин докурив махорочную скрутку, швырнул ее в снег. Горящий окурок слабо зашипел. Шелюгин вздохнул, вынул из-за пояса остро отточенный топор, положил его на колени.

Ружье Длугача висело на ремне за спиной. «Сейчас ударит, сволочь»,— холодея, подумал Длугач. Он сделал едва заметное движение плечом. Молнией мелькнула мысль: «Не успею»...

— Чего? Думаешь, ударю?— с горькой усмешкой спросил Шелюгин. Он положил топор у ног Длугача.— Возьми от греха, а то и вправду ударю.

Не шелохнувшись, Длугач проговорил:

— А чего ж, по дружости можно всего натворить...

Холодный ветер нес крупные хлопья снега, переметал дорогу. Сквозь снежную завязь, еле приметные, тускло светились окна в огнищанских хатах.

Длугач поднялся, протянул топор Шелюгину:

— Возьми, пойдем до дому.

Он положил руку на плечо Тимофея, заговорил медленно и торжественно:

— Мы что? Хотя и темные мы с тобою, Тимофея, а понятие обязанности иметь—я с одного боку, а ты с другого. Разве ж мы караем именно тебя, огнищанского гражданина Тимофея Шелюгина? Нет, брат. Тут класс на класс войной пошел, и замирения промехи их не будет. Понятно? Вот, допустим, ты бы ударил меня топором, убил бы. А польза тебе от этого какая? Никакой. Потому что за мной несчетные тысячи крестьян-бедняков и пролетариев стоят. Одного коммуниста, скажем, убить можно, а партию убить нельзя. Ясно? Тебе же я совет даю такой: покорись жизни, нутро свое в сылке переделай и вертайся очищенным, потому что как кулацкий класс тебя ликвидировать, а как человека на свет возродят, на ноги поставят и в семью свою примут...

— Пока взойдет солнце, роса очи выест,— еле слышно отозвался Шелюгин.

Помолчав, они вместе пошли к деревне. Дойдя до первого двора, Длугач остановился, протянул Шелюгину руку.

— Прощай, Тимоха,— сказал он,— и не

сержай на меня... Знаю я, что человек ты, не контра... А только правду ты нешу не понял... Прощай...

Еле почувствовал Длугач прикосновение жесткой, холодной руки Шелюгина и почти не услышал его слов:

— Прощай, Илья...

В эту морозную, снежную ночь Огнищанка не спала. С вечера, пока ставни были открыты, в каждом окошке светился неяркий огонь лампы, потом ставни позакрывали, и до утра в оконных щелях видны были лишь узкие полоски света. Изредка хлопали двери хат и сараев, слышались приглушенные шаги на снегу. Хрипло лаяли и подывали собаки. Перед рассветом то в одном, то в другом дворе раздавался пронзительный предсмертный визг свиней, тишину ночи нарушали гоготанье гусей, истошное кудахтанье напуганных кур. Надрыно мычали почуявшие кровь коровы и телята.

Ветер гнал по небу клочковатые, разорванные облака. Они то закрывали смутно мерцающей пеленой поздний ущербный месяц, то, сбившись клубком, неслись на запад, и месяц, на миг пробившись сквозь их завесу, освещал неярким светом беснующуюся на земле белесую снежную мглу.

Видимо, в эту метельную, полную тревожного ожидания ночь жителям затерянной среди снежных холмов глухой деревушки казалось, что завтрашний день надвое расщепит их жизни, и они, встречая пугающе неведомое, навсегда расстанутся с тем привычным, что веками передавалось от дедов к отцам и от отцов к детям и что было самым близким и родным в своей пропахшей дымом избе, на своем подворье, на своей земле.

Завтра все огнищанские граждане соберутся в избе-читальне на общий сход, и завтра же в деревне будет организован колхоз. Отберут у хозяев скот и птицу, увезут плуги и телеги, подушки и одеяла, кастрюли и сковородки, свалят все в одну кучу, поразорят избы, снесут плетни и заборы, построят один огромный барак, поселят огнищан в этом бараке, и уже ничто не будет своим, а все станет общим: жены и дети, земля, воля и кони,— не останется уже в деревне ни одного хозяина-хлебороба, а всех сделают батраками, бессловесной, безязыкой скотиной. И спасения от колхоза не будет, и никто от него не уйдет, разве только бросит все, сожжет свою избу и темной ночью покинет родную деревню, чтобы тайком сбежать и доживать жизнь в непроходимой сибирской тайге...

Это еще осенью пророчили проходившие через Огнищанку нищие старухи богомолки. Об этом в один голос твердили бежавшие из ближних и дальних уездов хозяева-мужики. Они в сумерках останавливались в деревне, настиг кормили и поили отошедших, запаленных в дороге коней, перевязывали кое-как накиденный в телати сарб и, ругая плачущих баб и детей, шепотом говорили огнищанам.

— Конеч света приходит... Под самый корень подсекают хлеборобов. Мы вот побил всю свою животину, мясо засолили и уходим куда глаза глядят. А хаты? Нехай они подавятся нашими хатами, грабители проклятые, хриstopродацы!

Всю осень огнищане ходили угрюмые, молчаливые, больше отсиживались по домам. Одним днем и ночью лежали на печи, тяжело вздыхали, ворочались до рассвета. Другие, заперев к соседу, усаживались, молча курили крепкий самосад и, опустив головы, часами думали горькую думу.

А в эту зимнюю ночь с субботы на воскресенье, узнав о том, что назначен общий сход граждан, зашевелились огнищане, как потревоженный муравейник. Почти в каждой избе еще с вечера начали топить печи, греть воду, готовить миски и ведра, бочки и лопаты. С полуночи чуть ли не вся деревня превратилась в кровавую бойню: молотами глушили и торопливо свежесвали телят, волов, яловых и стельных коров, забивали свиней и поросят, резали овец, гусей и кур. Чуть прикосли горячее, окутанное паром мясо, наполнили им бочки и ящики и в темноте зарывали в потайные хлебные ямы, хоронили в подполье, на чердаках, а то и просто закидывали снегом.

Задолго до этой полной страха и смятения ночи Илья Длугач, умудренный опытом со-

седних лет, строго-настрого предупреждал огнищан:

— Забой скота и всякой другой домашней живности категорически запрещен. Имейте в виду, что у нас в сельсовете есть полная опись, в которой значится не только каждая ваша корова или же свинья, но и каждая курица. Так вот знайте: ежели я не досчитаюсь у вас хотя бы курочки, душу вытрясу вместе с потрохами, потому что забой скота—это есть подрыв Советской власти и прямая контрреволюция...

Но где было председателю сельсовета совладать с той злобой, отчаянием и паникой, которые охватили Огнищанку в ночь перед собранием?

Расставшись с Тимофеем Шелюгиным, Длугач, не заходя домой, пришел в сельсовет. Дряхлая сельсоветская дверь была приперта изнутри. Сквозь щели закрытых ставен еле пробивались тусклые полосы света. Длугач постучал в окно. За дверью загремели, половина ее медленно приоткрылась, на пороге стоял Николай Комлев с винтовкой в одной руке и с железным ломом в другой. Длугач сардито улыбнулся:

— До зубов вооружился, герой?

Огромный, похожий на добродушного медведя Комлев пробормотал:

— Ты же видишь, Илько, чего в деревне творится. Ну, я и припер дверь ломом. Мало ли чего может содеять наша кулацкая сволочь.

— Острецов здесь?— спросил Длугач.

— А где ж ему быть, на лавке там отдыхает.

Длугач прошел в комнату. Слабо освещая расклеенные по стенам плакаты, на столе, покрытом лнялым, залитым чернилами красным кумачом, чадил керосиновая лампа. Ее неяркий свет еле угадывался сквозь густой махорочный дым. На широкой лавке, закинув руки за голову и затыкая ноги в балхашских носках, лежал Степан Острецов. Увидев Длугача, он привстал, потянулся, стал натягивать сапоги.

— Чего это?— насмешливо сказал Длугач.— Секретарь сельсовета и бывший боевой конармеец товарищ Острецов, будто невинная девочка, ямником двери припирает? Боишься, чтоб огнищанские кулачки пулю тебе в рот не загнали?

О, если бы знал коммунист Илья Длугач, с каким свирепым наслаждением не «бывший боевой конармеец», а бывший сотник императорского конвоя, корниловский офицер и террорист Степан Острецов зубами перегрыз бы ему, Длугачу, горло, затоптал его в снег, в мерзлую землю! Но... секретарь Огнищанского сельсовета товарищ Острецов умеет владеть собой. Вот он стоит перед Длугачом, высокий, стройный, с холодными, светлыми глазами, небрежно позевывает, поглаживает аккуратно подбрившие темные усы и говорит спокойно:

— Бережного бог бережет, Илья Михайлович. Чем свою голову подставлять под пули, я лучше сам отправлю на тот свет последних ваших контриков.

Длугач отряхнул снег с шапки-ушанки, поставил в угол ружье и усталое присел на табурет.

— Ладно, я пошутковал...

Зажав между коленями винтовку, Комлев уселся на пол. Острецов, сунув руки в карманы щегольских брюк галифа, медленно заходил по комнате.

— Что, режут, тады?— хмуро спросил Длугач.

— Режут, Илько,— виновато проговорил Комлев,— чуть ли не в каждом дворе скотина криком кричит, а гусиный да куриный пух носится гуще снега. Прямо-таки осканенел народ: одно знают—бьют скотину да самого хлещут.

Долго смотрел Длугач в пол, долго в глубоком раздумье постукивал пальцами по столу.

— Я бы их, дураков темных, разложил на улице без штанов да всыпал им плетей, может, поумнели бы.

Острецов остановился у стола, свернул сигарку, встал на нее в обкуривший вишневым маршуточек.

— Не имеее права, Илья Михайлович. Во-

парам, скотина, которую они режут, еще не колхозная, а ихняя собственная. Значит, они ей полные хозяева, чего хотят, то с нею и делают. А во-вторых, ежели мы начнем прижимать не только Терпужного и Шалюгина, но и середняков, нас по головке не погладят.

— Шалюгин мне зараз встал, в лес ходил за дровами,— задумчиво сказал Другач.— Жалко мне его. Мужик он добрый, а из-за кулацкой своей жадности пойдет под откос...

— К слову сказать, он не то, что коровы или же телята, даже поросенка из одного не зарезал,— тихо отозвался Комлев,— и ставни у него в избе настели растворены, а недавно глядел...

В избе Шалюгина действительно ставни были открыты, но свет в горнице был слабый, еле заметный, потому что лампы не зажигали, а сидели при лампаде, которая висела высоко под иконами, тихонько покачиваясь и отбрасывая на стены багряные блики.

После встречи с Другачом Тимофей Шалюгин пришел домой, молча разделся, сел у стола и, помедлив, тихо сказал отцу и жене:

— Дрова я не принес. Теперь дрова нам без надобности. Завтра или же послезавтра нас в Сибирь вышлют...

Почти беззвучно вскрикнула и зажала рот рукой маленькая круглолицая Поля, жена Тимофея. Сидевший на лавке в одном белье дряхлый дед Лавон непонимающими глазами уставился на сына, приложил ладонь к уху, спросил тревожно:

— Чего это, Тимофей?

Тимофей сказал громче:

— В Сибирь нас высылают, батя. Как нетрудашки кулаков.

Замолчала Поля, уткнувшись лицом в стол, плакала. Дед Лавон дрожащими пальцами перерывал распахнутый ворот ночной сорочки. У ног Тимофея терлась белая кошка. Она прыгнула к нему на колени, замурлыкала. Тимофей осторожно снял кошку с колен, опустил на пол.

— Хвати, Поля!— сказал он.— Чего ж плакать! Слезами горю не поможешь. Не мы одни попали в эту молюшку. Давай лучше будем помалу собираться. Есть там в коморе два сундучка, в один давай уложим теплую одежду, а в другой возьмем сала, трошки муки, соли.

Тимофей поднялся, полонил руку на вздрагивающие плечи жены.

— Ну, не плачь, Полошка,— проговорил он ласково,— люди скрозь живут. Готовь все, что требуется. А я пойду сена положу скотине.

Надев шапку, Тимофей вышел из избы. Так же, как всегда, он железной клюкой надергал из стога большую охапку сена, перехватил его веревкой и понес в конюшню. Увидев его, кони просительно заржали. Двое развязанных жеребят-стригунов игриво кинулись к сани. Тимофей положил сено в ясли, огладил лошадей и вышел из конюшни, притворив дверь на засов. Потом он отнес такую же охапку сена двум коровам, взял в летней кухне захолодавшее пойло и вылил в корыто саникам, подгреб навоз возле база. В этот вечер Тимофей Шалюгин так же неторопливо, по-хозяйски исполнил все, что он делал тридцать лет, только сегодня он не говорил ни с конями, ни с коровами, а ходил по двору молча, опустив голову, и руки его исполняли привычную работу сами.

Когда Тимофей вернулся в избу, он остановился у порога, потом шагнул к жене. Плачущая Поля стояла на коленях перед раскрытым деревянным сундучком, укладывая в него старую икону. Три другие иконы, побольше, стояли прислоненные к столу. Красная лампада висела теперь в пустом углу, где остались только ржавые костыли.

— Для чего это, Поля?— сказал Тимофей.— Может, нам сундучки доведется на плечах нести. Куда ж еще иконы брать?

— Недай берет,— хрипло сказал дед Лавон,— без бога нельзя. Бог нам дал, бог и взял, на то его святая воля.

Тут только Тимофей заметил, что дряхлый его отец сидит на табурете одетый в свой поношенный полушубок и в стоптанные валенки, с шапкой и с палкой в руках.

— Куда это вы, батя!— с тревогой спросил Тимофей.

Дед Лавон повернул к сыну изрытое морщинами, белое, давно потерявшее загар лицо,

трокул рукой зеленоватую от старости бороду.

— На кладбище схожу, с матерью покойной попрощаюсь... Думал, в одной земле с нею лежать доведется, а оно, видишь ты, что получилось...

Горло Тимофея сдавила спазма.

— Я провожу вас, батя,— сказал Тимофей, с любовью и жалостью глядя на отца.

— Не надо, сынок, кладбище рядом...

Он поднялся, маленький, согбенный, выскользнул за девянность лет так, будто земля с годами высосала из него всю кровь и тянула к себе его низко наклоненную седую голову. Опираясь на палку, тяжело передвигая ноги, дед Лавон вышел из избы. Он забыл прикрыть за собой дверь, и в горнице замаячили красноватые при свете лампы снежинки...

Дед Лавон, отвернувшись от ветра и снега, постоял посреди двора, послушал глухое топканье копыт за дверями конюшни, поднял и поставил в стену коровника упавшие вилы, потом, разгребая валенками мягкий, пушистый снег, зашагал со двора на лавку. Вся шалюгинская земля—шестнадцать десятин—когда-то до революции примыкала прямо к подворью, тянулась по склону холма вдоль опушки Казенного леса и, огибая пруд, заканчивалась у развилки дорог.

На лавке, у пруда, росли ветлые вербы. Все они были ровесницами деда Лавона, а сажал их его отец в честь рождения сына. Почти каждую зиму густые кроны верб рубили, из гибких их ветвей плели плетни и корзины, а весной могучие стволы деревьев буйно гнали новые зеленые побеги, которые к лету укрывали своей тенью наморенных, отдыхающих в полдень мужиков.

Сейчас вербы стояли засыпанные снегом. Корявые стволы их чернели над белющей внизу гладкой пеленой ледяного пруда. Ветер стал немножко утихать, но снег шел густой, его крупные хлопья, лениво кружась в воздухе, ложились на безмолвную, скованную холодом землю.

Минувая ряд верб, дед Лавон стал подниматься по склону заснеженного холма. Дышал он хрипло, как запавший конь, шел, согнутый в поясе, еле волоча отяжелевшие ноги, тощей грудью опираясь на зеленоватую палку. Увязая в снегу, потеряв шапку, он дополз до межи. Идти дальше у него уже не было сил, хотя он хотел подняться на вершину холма, чтобы последний раз взглянуть на деревню, в которой родился и прожил всю свою долгую, нелегкую жизнь. Но и отсюда, с пологого склона, на котором он остановился, содрогаясь от мучительного кашля и слез, хорошо были видны пруд и кладбище за прудом, и крайние огнищенские хаты с еле заметными огонь-

Уронив палку, дед Лавон сел на снег. Ветер шевелил нечесанные космы его седых волос, морозным холодом обжигал шею и спину. Дед не чувствовал ни ветра, ни снега, ни холода. Долго сидел он, обняв руками колени, всматриваясь в темные очертания хат, потом разгреб мягкий, податливый снег, стал на четвереньки, коснулся щекой мерзлой, твердой, как камень, земли и замер, охваченный болью и острой мукой.

Вся его жизнь, точно ослепительное озарение, промелькнула перед ним в этот миг. Он вспомнил бесконечные годы тяжелой, непреходящей работы, будто наяву увидел каждого вола и каждого коня, которых он, Лавон Шалюгин, не жалел ни себя, ни скотину, гонял по полям до седьмого пота, до изнурения. На один вол и на один коня, замученные им, падали, надорвавшись, в глубокой борозде, и он снимал с них шкуры, а в тяжелый плуг запрыгал новых волов, новых коней, и, казалось, не было этому конца...

Рыдая, он терся щекой об землю, и слезы заморозили на облезлом вороте его полушубка, и уже казалось ему, что сквозь снежную завязь идет к нему его покойная жена. Ведь это он, жадный до земли, до работы, сгубил ее. Вся деревня еще спала, а он до рассвета уходил с женой в поле. Еще и зари не занималась, а они пахали, бороились, сажали, поливали, косили, таскали снопы. Вот на этом самом холме, на этом поле—сейчас оно покрыто снегом и окутано холодной тьмой, а тогда пахло пшеницей и цветами—она, его жена, надорвавшись, до времени скинула

мертвое дитя. После она долго, годами болела, потом родила единственного их сына, а вскоре, подавая на арбу тяжеленные снопы, надорвалась, полгода пролежала в больнице и умерла.

«Пойду на кладбище, попрощаюсь с ней, может, она простит меня за все»,— подумал дед Лавон. Опираясь на палку, крахля и всхлипывая, он поднялся с колен, постоял немножко, отворачиваясь от ветра, и осторожно пошел вниз, к ледяному пруду.

Кладбище было совсем близко, за прудом. Огороженное заснеженным плетнем, оно неясно чернело на вершине соседнего холма. По присыпанной снегом ледяной глади пруда дед Лавон шел, не поднимая ног. Стоптанные подошвы тяжелых валенок скользили на льду, согнутые дедовы ноги дрожали...

Дед Лавон уже лет пятнадцать не выходил со двора. Он не знал, что перед рождеством его сосед Аким Турчак железным ломом прорубил во льду замерзшего пруда прорубь. Прорубь была небольшая, шириной чуть больше аршина. По субботам бабы выходили к проруби полоскать белье, а по воскресеньям, прихватив самодельные удочки, прорубь окружали огнищенские ребяташки. В эту морозную, металлическую ночь густой снег замел напотопанные тропы и следы вокруг проруби, она лишь смутно угадывалась на снежной равнине.

Повернувшись спиной к ветру, дед Лавон шел боком, еле волоча ноги, и вдруг провалился в обжигающую холодом игlistую бездну. Он вскрикнул от ужаса, раскинул руки, стал судорожно скрести скользкий лед, пытаясь дотянуться до отлетевшей палки и выбраться из проруби. Он долго кричал, но его хриплый старческий голос тонул в шуме ветра, а слабое, немощное, внезапно отяжелевшее тело не слушалось рук. Ветер гудел, завывал по-волчьи, нес тучи снега, вокруг бесновалась белесая мгла.

Дед Лавон начал терять сознание. Он хотел сложить на грудь руки, чтобы опуститься в воду, под лед и разом закончить мучения, но руки его одеревенели, стали застыть, и он уже не смог пошевелить ими. Только седая голова его все ниже клонилась к мокрой от хлюпающей воды кромке льда. Он все еще кричал, хрипя и плача, но уже не слышал своего угасающего последнего крика.

Потом ему сразу стало тепло. Он перестал плакать, в изнеможении уперся бородой в лед и закрыл глаза. И уже не дикий вой ветра слышался ему, а тихая, неземная, прекрасная музыка. Он понял, что это его свадьба, потому что рядом с ним, склонив голову в белой фате, стояла его молодая, красивая жена. С другой стороны почему-то стоял единственный его сын, а вокруг ласково улыбались соседи, которые давно умерли, все молодые и красивые, такие, какими они были семьдесят лет назад. Ближние его сердцу люди, осиянные теплым, божественным светом, пели радостную тихую песню, и душа его, разрываясь от ослепительного, невыносимого счастья, тоже пела и плакала в сладком умирении, дожидаясь, наконец, того, чего он всю свою долгую жизнь ждал, но так и не смог дожидаться на этой трудной, печальной земле...

Тимофей нашел пропавшего отца утром. Раскинутые руки и борода деда Лавона амерзали в лед. Голова была наклонена вниз, покрытые инеем волосы розовели при свете холодной зимней зари, и был он похож на уходящее под землю распятие. Вокруг мертвого деда подрубили лед, вытащили его окаменевшее тело из проруби и похоронили на засыпанном снегом кладбище, рядом с могилой жены...

В эту же ночь едва не погибли еще двое огнищен: подлежащий раскулачиванию и ссылке Антон Терпужный и председатель сельсовета Илья Другач.

Терпужный знал о том, что завтра у него отберут дом, коней и скот—все, что он нажил за полвека,—а его с женой и дочкой загонят куда-то в Сибирь. Ему об этом сказал его зять Степан Острецов. Правда, Острецов сказал, что дочку Пашку, может, и не вышлют, потому что она замужем за ним, Острецовым, заслуженным буденновцем-конармейцем, секретарем сельсовета, полностью сочувствующим Советской власти, но это не утешило Антона Агалавича: к разгульной, заполошной дочке он относился с безразличным равнодушием и даже в глаза называл ее лахудрой.



В полночь Терпужный начал пить. Он принес из коморы штоф самогона-первача, сел за стол и, угрюмо набычавшись, с отвращением выпил полный стакан. Толстая Мануйловна с опухшим от слез рыхлым лицом с жалостью посмотрела на мужа, высморкалась и проговорила глухо:

— Чего ж будем делать, Агапович?

Тупо уставившись в пол, Терпужный сидел, вздохнул.

— Насточертели вы мне все, гады проклятые...

Помолчав, он добавил:

— Неси сюда все, чего у нас есть из золота или же серебра.

Мануйловна засуетилась, раскидывая перины, хлопая крышкой украшенного латунию сундука, долго обшаривала божницу в углу. Перед мужем она положила несколько золотых царских пятаков, с полсотни серебряных рублей, три натальных креста, набор столовых и чайных ложек и отдельно — самое дорогое, что было у Терпужных, — массивный золотой портсигар с бриллиантами и с короной князей Берминных, обмененный Терпужным в голодном двадцать первом году на три фунта сала и ведро ячменной муки.

Хмуро поспавывая, Терпужный стащил с ног тяжелые, подшитые кожей валенки, уложил в них портсигар, кресты и пятерки, прикрыл войлочной стелькой и снова сунул ноги в валенки. Потом он залпом выпил второй стакан самогона, отодвинул от себя серебро и крикнул Мануйловна:

— Чего рот раззявила? Забирай все это, склади в торбу и хорони за пазухой, королева дурноголовая!

Опершись волосатой грудью о край стола, Антон Агапович обнял кулачком граненый стакан с самогоном и долго сидел, покусывая вислые моржовые усы. Выпил самогона, поднялся, взял под лавкой долото и, недобро ухмыляясь, подошел к стоявшей у простенка фисгармонии. Сделанные немецкими мастерами, с инкрустациями по красному дереву и с эмалевыми медальонами, фисгармония в том же голодном году была обменена Антоном Агаповичем на курицу и стакан соли.

Слегка пошатываясь, Терпужный подошел к фисгармонии, рывком открыл крышку и стал долотом выламывать клавиши. Костяные клавиши с легким стуком падали на пол.

Мануйловна всплеснула руками, попятилась испуганно.

— Чего ж это ты далаешь, Агапович? Ведь это труд людской! И не жалко тебе?

Терпужный с силой швырнул долото, оно воткнулось острием в дверь.

— Жалко? — прохрипел он, с трудом подняв на жану затуманенные хмельной мутью глаза. — Жалко? Кого мне жалеть? Тебя, старуху? Шалаву Пашку? Или же эту швиаву, голопузую наволочь, которая зараз меня под самый корень режет?

Он вытер выступивший на лбу пот, глотнул самогона, скривив рот, сплюнул тягучую, горькую слюну.

— Никого мне не жалко, — с трудом ворочая языком, сказал Терпужный, — никого... ни тебя, ни Пашку, ни подлых людей... Пошли вы все к едреной матери!

В изнеможении он прислонился плечом к стене и проговорил хриплым шепотом:

— Одну только ее жалко... Зорьку...

Он опустился на табурет, положил голову на стол, повторил глухо:

— Только ее...

Золотисто-рыжую Зорьку, рысистую орловско-американскую кобылу, Антон Агапович купил в губернском городе четыре года назад малым жеребенком, заплатив за нее огромные деньги, вырученные от продажи полутора тысяч пудов пшеницы. Непман-коммерсант, промышлявший на ипподромах, не обманул Терпужного. У жеребенка были отличные, нефальшивые документы, родословная, все часть по части. Антон Агапович ходил за Зорькой, как за дитя: кормил ее отборным овсом и лучшим степным сеном, таскал ей сахар, хлеб, привозил с базара сладкие пряники; в конюшне Зорька стояла отдельно от трех рабочих лошадей, в чистом деннике, у нее постоянно была свежая подстилка.

Привязанность Антоном Агаповичем к Зорьке объяснялась просто: всю жизнь он чувствовал себя одиноким. Толстую, глупую жену не любил и презирал, ленивую и распутную дочь ненавидел. Каждый день он ругал их последними словами, под горячую руку и во хмеле бил без всякой жалости. Но, видимо,

где-то в глубине его темной, утробной души гнездилась затеянная тоска по ласке, и он, хмурый, насупленный, временами уходил в конюшню и разговаривал с Зорькой. Ни разу в жизни не приласкавший ни жену, ни дочку, он неуверенно прижимался жесткой, небритой щекой к горячей конской шее и замолкал, растраченный и смущенный.

Огнищане, глядя на выхоленную красавицу Зорьку, завидовали Терпужному и посмеивались над ним: «На черта тебе эта городская кукла?— говорили они.— Ее только под стекло на выставку ставить, а не в плуг запрягать. Осканел ты, Агапич, на старости». Но Терпужный не обращал на односельчан никакого внимания. Любимицу свою Зорьку он берег, запрягал только в легкий пропашник или в двуколку. Прошлой весной он случил ее в Ржанске с племенным жеребцом и нетерпеливо ждал приплода. Ждать осталось совсем немного, полтора месяца. И вот теперь Антон Агапович должен навсегда проститься с Зорькой и, лишенный всех человеческих прав, ободранный, как липка, нищий, под конвоем отправиться в далекую сибирскую ссылку.

— Брешете, гады... не дам я вам Зорьку,— сквозь зубы пробормотал Терпужный, постукивая по столу толстыми, узловатыми пальцами.— Не вы, подлюги, ее растили, и на вам не ей ездить...

Морщась, он вылил из штофа в стакан последний самогон, выпил, закрыв глаза, и подился из-за стола.

— Собирай и вяжи в узлы все свои шмоты,— сказал он жене,— а я скоро вернусь.

Надев старую стеганку и шапку-ушанку, Антон Агапович пошел в конюшню. Он снял со стены уздечку и вошел в денник к Зорьке. Жеребая кобыла, посвечивая в темноте лиловым глазом, просительно заржала. Он накинул на нее уздечку, прижался к ее горячему хляпу мокрым от снега лбом, проговорил тихо:

— Прощай, Зорька! Не хочу я давать тебя в страту. Пойдем!

Терпужный вывел кобылу из денника, постоял с ней у конюшни, послушал. Был шестой час утра. Ветер нес в темноте тучи снега, наваливал под плетнем сугробы. Антон Агапович ощупью нашел стоявший у стенки плуг, вытащил из-под снега чистик-палку с острым железным наконечником-лопаткой. Этим тяжелым чистиком он весной и осенью во время пахоты очищал плуг от налипшей на лемех влажной земли.

Ухватив поводья, Терпужный вскочил на заплясавшую под ним кобылу и, придерживая ее, шагом вышел со двора. Ехал он не по улице, где его могли увидеть, а свернул в переулочек, медленно миновал деревенские зады и направился прямо к Казенному лесу.

Если бы эта морозная, снежная ночь была обычной огнищанской ночью, его бы, конечно, никто не увидел, а если бы и увидел, то не придавал бы этому никакого значения. Мало ли куда может ехать человек до рассвета! Но эта ночь была особой, непохожей на все другие ночи. Она рассказывала жизнь людей надвое, была пугающе томительной и тревожной. Поэтому никто из огнищан не спал.

Не спал и четырнадцатилетний Лаврик, бывший батрачком Терпужного, спасенный от бесконечных побоев и недетских мучений и усыновленный председателем сельсовета Ильей Длугачом. Он вышел на порог, увидел одинокого всадника, ехавшего не по дороге, словно крадущийся, узнал Антона Агаповича и Зорьку и заподозрил неладное. Лаврик знал о предстоящем утром раскулачивании и решил предупредить о бегстве Терпужного своего названного отца. Накинув нацавейку, сунув ноги в еленики, он прямо через огороды стремглав кинулся в сельсовет.

В жарко натопленном сельсовете чадил под потолком керосиновая лампа. Илья Длугач с красными от бессонницы глазами рассказывал по комнате. На полу, у печки, вытянувшись во весь свой гигантский рост, обняв рукой винтовку, храпел Николай Комлев. У окна, на лавке, сидели секретарь сельсовета Острецов и лесник из Казенного леса, Смаглюк, чернявый парень Павел Смаглюк. Павел был слегка выпивши. Посмеиваясь, он что-то рассказывал Острецову.

— Папая!— с порога закричал Лаврик,— дядька Антон Терпужный верхом на Зорьке подался в Казенный лес. Ехал не по дороге, а напрямки и все время оглядался, будто хранился от кого-то!

Длугач круто повернулся, шагнул к Острецову.

— Видел, чего твой тестя удумал? Откуда же он узнал про раскулачивание и куда подался? Острецов спокойно пожал плечами.

— Не знаю, Илья Михайлович. Я за тестя, как вы его называете, не отвечаю. Кулацкая он сволочь, а не тестя, и я удавил бы его своими руками.

— Ладно!— отрывисто сказал Длугач.— Он от меня не уйдет.

Длугач накиннул шинель, переложил наган из кармана брюк в карман шинели, надел шапку, взял со стола нагайку и бросил на коду:

— Из сельсовета никому не отлучайтесь. А ты, Лаврик, ступай до дому.

У стенки сельсовета, в затишке, стояли два оседланных коня: один—гнедой мерин Длугача, другой—сытый монгольский жеребчик лесника, на котором Смаглюк еще с вечера приехал в Огнищанку.

Метель не унималась. Отверачиваясь от ветра и снега, Длугач вскочил на застоявшегося мерина и крупной рысью поехал к Казенному лесу.

Как только Длугач вышел, а Лаврик побежал домой, Острецов, опасливо поглядывая на спящего Комлева, аполголоса сказал Смаглюку:

— Выйдем.

Они вышли на крыльцо.

Острецов взял Смаглюка за отворот полушубка, быстро и властно проговорил:

— Скажи до Казенного леса в объезд, перестрелю Длугача возле Волчьей пади и кончай его. Хватит с ним цацкаться. Погода такая, что никто ни черта не узнает, снег заметет все следы. Понял?

— А то чего ж? Понял!— отозвался Смаглюк.

Он помочился у крыльца, вытащил из-за пазухи австрийский обрез, сунул его за пояс, опустил наушники бараньего треуха, сел на коня и поскакал к лесу. Острецов постоял немного, зевнул и, потягиваясь, пошел в сельсовет...

Метель то бушевала всюю, то на мгновение утихла. Ветер дул порывами, неровно, и снег, густой и резкий, несся с запада на восток, укрывая соломенные крыши хат, пустынные поля, кустарники, окривки глубокой белой паленой. По небу мчались черные клочья туч, закрывая месяц, и все на земле казалось печальным, мертвым и бесприютным.

На вершину холма Антон Терпужный выехал шагом. Натужно повода тяжелым, большим животом, устало пофыркивая и повода острыми ушами, Зорька, как всегда, повиновалась крепкой руке хозяина, но шагала осторожно. На вершине Терпужный остановил кобылу. Отсюда еще видны были тусклые огоньки огнищанских хат внизу, а впереди, совсем близко, чернела опушка Казенного леса.

Икая, содрогаясь от противной, мучительной тошноты, Терпужный помедлил минуту, обнял горячую шею лошади и вдруг, поднявшись, изо всей силы ударил ее тяжелым железным чистиком. Жеребая кобыла звизжала на дыбы, прынула вбок и, закусив удила, ничего не видя впереди, понеслась бешеным галопом. А Терпужный, сатаняя, бил ее по ушам, по глазам, по шее и, словно издалека слыша ее надсадные стоны и утробное кряхтенье, крипло кричал:

— Вот вам Зорька! Вот вам мое счастье... моя доля... моя жизнь...

С каждым словом он опускал острый окровавленный чистик на изрубленную голову лошади. Не умерев сумасшедший бег, ослепшая, израненная Зорька упала на колени, ткнулась горячим храпом в сугроб и повалилась на бок...

Когда Длугач, сжимая в левой руке нагайку, а правой локоточко выхватывая из кармана шинели наган, подкакал к темной, шевелящейся в сугробе куче, он увидел в пред-рассветных сумерках подплывшую кровью лошадь. Она лежала на боку, вытянутые ноги ее конвульсивно вздрагивали. Уткнувшись ли-

цом в окутанную паром шею лошади, сбоку лежал Антон Терпужный.

Длугач соскочил с коня.

— Т-так, значит... белое падло?— задыхаясь от ярости, прокричал Длугач.

Он приложил наган к уху издающейся Зорьки, нажал спусковой крючок. Грохнул выстрел. До боли закусив губы, Длугач ударил Терпужного нагайкой по голове, рванул его за плечо и заорал, не слыша собственного голоса:

— Вертайся до дому, в гроб твою мать, кулацкая курва, а то зараз, как собаку, убью! От Советской власти вздумал бежать, сука? Брешешь, гад, не убежишь!

Сорвав с мертвой кобылы уздечку, Длугач накиннул ее на шею стоявшему на коленях Терпужному, распушанный повод привязал к стремени и вскочил на коня.

— Ступай вперед!— закричал Длугач, размахивая наганом.— А ежели вздумавшись чего, знай: в тую ж секунду все шесть пуль в глотку аляпаю!

Тяжело вздохнув, Терпужный поднялся с колен, молча посмотрел на мертвую Зорьку, на которую хлопьями ложился чистый снег, и, сгорбившись, не снимая с шеи уздечки, пошел вперед. Придерживая коня, Длугач поехал следом.

Так они добрались до Волчьей пади. Стало светать. Тут в этой узкой, забитой сугробами лесной прогалине густой дубяж с обеих сторон подступал к самой дороге. Медленно, натянув повод, неуклюже загребая валенками глубокий снег, шагал впереди Терпужный. Сжимая побелевшими пальцами рукоятку нагана, Длугач с ненавистью смотрел на его заросший седыми волосами затылок. На крутом повороте конь остановился, насторожил уши и голосисто, заливаясь заржал.

Длугач уже хотел вытянуть его нагайкой. В эту секунду слева, откуда-то из гушины леса, грянул выстрел. Пуля обожгла щеку и ухо Длугача. Крутнувшись в седле, он поднял наган, четыре раза подряд выстрелил туда, где слышался удаляющийся треск сучьев. Терпужный споткнулся, глянул на Длугача мутными, хмельными глазами.

— Чего вылупил зенки?— закричал Длугач.— Небось, думал, что коммунист Илья Длугач уже на том свете? Шагай вперед и не оглядывайся!

До сельсовета они добрались, когда уже рассвело. На крыльце их встретила Острецов, Николай Комлев и Демид Плахотин, одетый в свой праздничный костюм—защитную гимнастерку и малиновые брюки галифе.

Увидев окровавленного Терпужного и кровь на щеке и на шее Длугача, Острецов нахмурился, подтолкнул локтем Плахотина.

— Беги, Демид, к фельдшеру, пусть сейчас же идет сюда и захватит бинты и йод.

Длугач сошел с коня, снял уздечку с шеи Терпужного, устало сказал Комлеву:

— Расседай и покорми мерина, а как охолоет, напои как следует... А этого,— он мотнул головой в сторону Терпужного,— замкни в погреб и гляди за ним в оба, мы еще побалакаем...

Так закончилась в Огнищанке метельная, снежная ночь.

Через полчаса фельдшер Дмитрий Данилович Ставров перевязывал раненого Длугача. В просторной комнате сельсовета толпились народ. Люди курили, тихо переговаривались, молча покачивали головами.

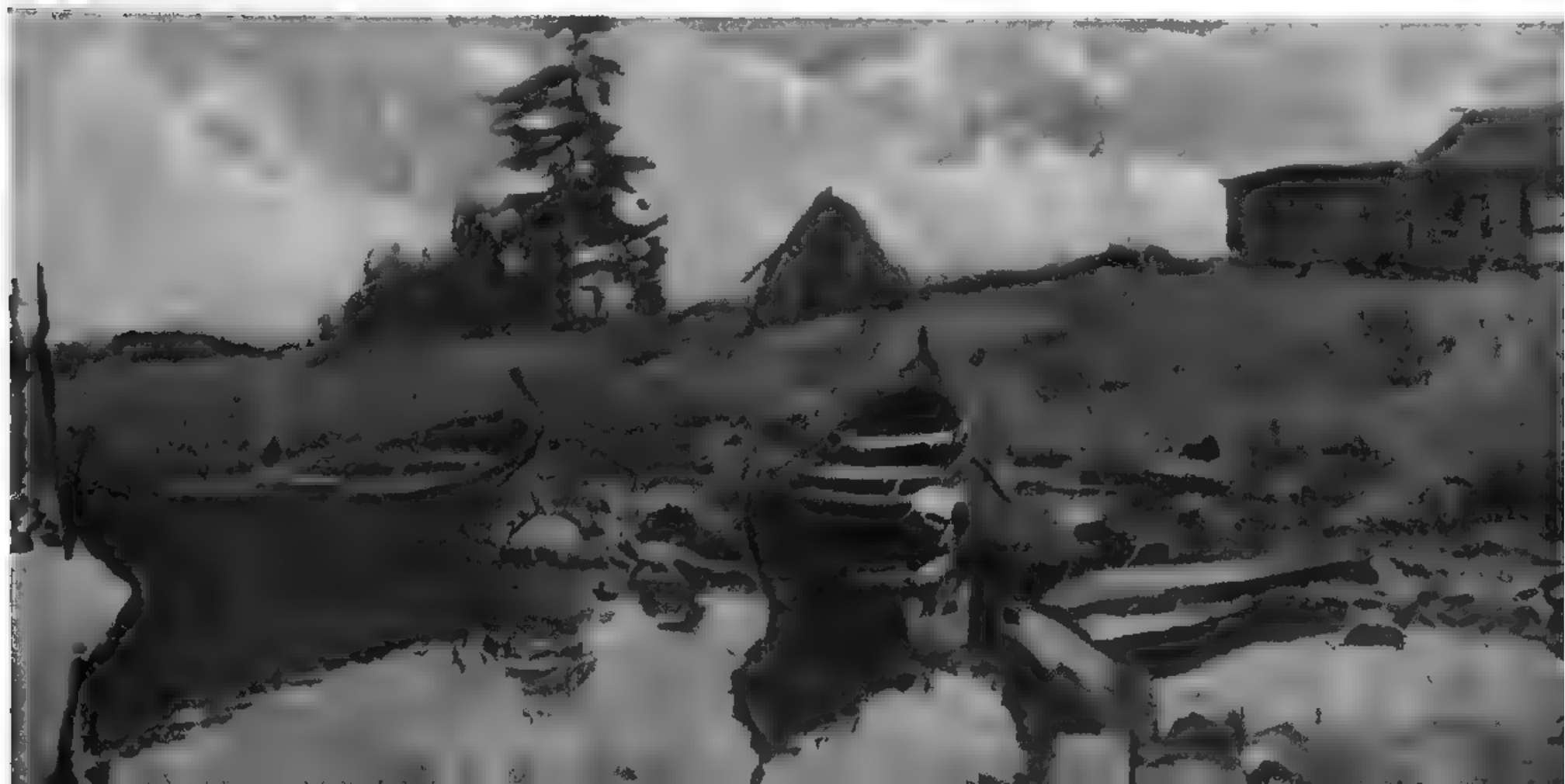
Длугач сидел на табурете у стола. Подняв голову и глядя в запорошенное снегом окно, он думал о том времени, когда среди людей не будет кровавых распри, и не будет больше жестокости и жадности, и не будет нелепых смертей и иррив, и просветлеет человеческий разум, и все поймут, в чем счастье жизни. Илья Длугач верил, что это время придет и, хотя к нему, к этому счастью, еще предстоит идти трудной и дальней дорогой, идти сквозь зимы и весны, сквозь кровь и грязь, через сомнения, тревоги и ошибки,— коммунист Илья Длугач верил Ленину.

Длугач хотел теперь же, сразу сказать об этом столпившимся в сельсовете людям, но ничего не сказал. Как только фельдшер закончил перевязку, Длугач окинул людей просветленным, влажным взглядом, взял улыбку, медленно опустил голову на руки и уснул...



В. Загосек. РЯБИНУШКА

ЯЛДОМ-ОЗЕРО. ЛОДКИ





■ Загонец. ЦВЕТЕТ ЧЕРЕМУХА.

Светлая муза Тукая

(к 90-летию со дня рождения)



Когда едва запомнив буквы, я впервые выдал слово «мама», мать достала с полочки книжку и положила ее передо мной. Это была книга Габдулы Тукая. После этого каждый вечер мать водила меня в страну сказок Тукая, а мир его стихов — простых и загадочных, — и они давали ощущение прикосновения к тому, что есть и что должно быть...

Шли годы, были другие книги, другие образы, ощущения, многие из них со временем исчезли из памяти, а мир Тукая в любом возрасте словно оборачивался своей новью, еще не названной стороной, становясь все шире, все глубже: в детстве Тукай пробуждал пер-

вую любовь к поэтическому слову, расширял воображение, в юности он обострил чувства и мысль, а когда наступила зрелость, он учит широкому взгляду на жизнь, оптимизму.

Тукай, переживший безотрадное детство сироты, прошедший школу в медресе, где умственные и душевные силы многих гибли, подавленные ступенчатой системой обучения сраженный в двадцать семь лет бедностью и болезнью, ломая все препятствия и преграды жизни, поднялся на вершину поэтической мысли и стал одним из основоположников татарской литературы, создателем татарского литературного языка и образцом гражданственности.

Идейные враги Тукая — националисты всех мастей — пытались опорочить его за любовь к идеалам Пушкина и Лермонтова, за его преданность России.

Когда татарские реакционеры в 1907 году развратили напавшим за переселение татар в Турцию, Тукай, уже будучи популярным поэтом, гневно писал:

Мы не уйдем, мы не уйдем в страну ярма
и вечных стонов,
Там вместо здешних десяти пятнадцать
мы найдем шпионов!
...Мы не уйдем туда: уйти не могут города
и реки!
Здесь пережитые века пребудут с нами,
здесь навеки!
Здесь родились мы, здесь росли, и здесь
мы встретим смертный час,
Вот с этой русской землей сама судьба
связала нас.
Прочь, твари низкие, не вам смутить мечты
святые...

Пафос поэзии Тукая — это познание себя и своей эпохи. Он не заигрывал с жестокой действительностью, не избегал противоречий и борьбы. Он глубоко осознавал невозможность примирения человека с античеловеческим буржуазным строем и верил в революционность народа. «Народ велик он могуч, он страстен, он музыкален, он писатель, он поэт».

Тукай знал и трагические схватки с жизнью и счастье слияния со всем сущим, он был горд и гневен, был и великодушен и нежен. Поверженный, он поднимался, и снова начиналось его упорное восхождение. Даже когда смерть напоминает ему о себе, Тукай не в смятении. От одержимости и оптимизма Тукая прямая дорога к оптимизму и одержимости Мусы Джалиля.

Азат АБДУЛЛИН

ЧЕЛОВЕК С МАЛЕНЬКОЙ БУКВЫ

Сеанс подходил к концу. Второй час боролся Лебедев против Лебедева, и стало очевидно: оставшиеся минуты не принесут ответа на возникшие вопросы, не рассеют недоумений. Настом я пригласил героя фильма спуститься в зал. Когда свет зажегся и зрители, не торопясь, стали расходиться, он, назавещанный другими, вышел из-за экрана и подошел ко мне. Я представился, мы познакомились.

— Хорошо бы нам побеседовать, — сказал я.

— Охотно! — согласился он. — Утренний сеанс не скоро.

Выйдя на бульвар, мы выбрали скамейку возле пруда. Здесь нам

спросил я без обиняков: — Откуда ты такой явился? — Он горько усмехнулся:

— Меня выдумали... — Выдумали? Кто?

— Сценарист Феликс Миронер.

— Но ты вроде живой... — Я хотел потрогать его рукой.

— Меня воплотили, — отстранился он.

— Во что воплотили?

— Во что в кино воплощают — в образ...

— А воплощая кто?

— Режиссер Генрих Габай.

— Сам?

— Сам! Чужак ты, правка актера подобрали.

— И долго подбирали?

— А думалось, это просто! Ведь я человек с маленькой буквой, что называется, ни рыба, ни мясо.

Негероический герой. Мне скоро тридцать, а у меня даже врагов нет. Представляешь, ни одного врага!.. Такого убогого в наше время кому играть охота...

— А зритель что?

— Безмолствует...

— В газетах, журналах хвалили?

— То ж критики!

— А за что хвалили?

— Говорят, правду жизни отразил.

— Нашей, советской жизни?

— Какой же еще! Картина ведь о москвичах-современниках...

Порывшись в карманах, герой достал пачку газетных вырезок.

— Вот послушай, что обо мне пишет Л. Лазарев в «Советском

экране»: «...Это рассказ о человеке, у которого появилась потребность «выпрямиться», который

избавляется от скрывающегося «сознания своего ничтожества», обретает человеческое достоинство».

— А что, собственно, тебя «сгорбило» и «сказало»?

— Слушай дальше: «...В силу известных обстоятельств он, — то есть я, Лебедев, — утратил веру в то, что его вмешательство может что-нибудь изменить в окружающей действительности. Он смирился с участью маленького человека, от которого ничего не зависит, с мнением которого не считаются».

— А тебя известны эти «известные обстоятельства»?

— Все тебе разжую да в рот положу! Среди имел он в виду, пожалуй? Помнишь, какие люди в фильме меня окружают? Скажем, на работе: Лешка, хоть и молод, а уже отпетый эгоист и циник.

Евгений Виторович, профессор, руководитель нашей лабораторий, — приспособленец, делла. А тот, что за кадром, «член-корреспондент академии, «заткнувшийся» к нам, на место моего друга Вальки, свою племянницу!.. А мой сосед по квартире Валерий Борисович, мецзинн, неужда, сключник, подлец!.. А на улице: хулиганы и девушкам пристают, и хоть бы кто из прохожих пальцем пошевелил!..

— А ты сам?

— Думал было...

— И что же?

— Спешил очень...

— Выходит, среда тебя засосала?

— Среда...

— Понимал ты был?

— Был...

— А комсомольцем?

— Состоял...

— В советском вузе учился?

— Учился...

— А Человеком там и не стал?

— Не стал, как видишь!.. Впрочем, таким я не всегда был.

Вспомни кадры, где я встретился и беседовал сам с собой, с Лебедевым-мальчишкой. Каким я был тогда решительным, смелым! Если можно применить к детскому возрасту такое понятие, — и принципиальным! Это уже после все под откос пошло. Волю к борьбе разнородные разчело, смелость робостью сменилась, принципиальность — примиренчеством...

— Кто ж тебя так покатал?

— Страх...

— Кого ты боялся?

— Хулиганов, сключников, начальников... От страха у меня кошмары. Каким, например, я вижу нашего кадровика Потапова: олицетворением ограниченности, самодовольства, бесчеловечности, бюрократизма...

— Где же таких монстров отловили?

— Все там же, в пережитках... Где иначе найдешь! Но тут все от «заведения» художника зависит: хорошее ведь и там совсем видно, а вот расползлось и отобразить в хорошем плохое не всем дано...

— А те художники, что хорошее отображают?

— Не медные те...

— ??

— Да я тоже не сразу понял. А главный режиссер одного московского театра мне растолковал.

«Интерес зритель и героической теме, — говорит, — выдуман. Его искусственно раздувают».

— Так прямо и сказал?

— Так и сказал...

— А что, по его мнению, зритель интересуют?

— Морально-семейно-бытовые проблемы

— А герои какие?

— Не героические! Вот как я, с раздвоенным сознанием: сомневающийся, переживающий. Вообще неполноценные. Испуганные...

— Момент, этим испуганным полечиться надо?

— Вряд ли поможет! У них прироста таланта...

— Как у тебя?

— У меня другое дело: ведь я в конце-то девушку от хулиганов все-таки защитил!

— Как это ты осмелел?..

— Перестроился!..

— Так вдруг и перестроился?

— Не вдруг... Сутки я воевал со своим двойником.

— И победил?

— Победил...

— Ты, выходит, борец?

— А ты думаешь! Так и критики говорят.

— А других мнений критики о тебе не высказывали?

— Критики? Нет...

— Момент, кто другой высказывал?

— Ребята высказывали, учащиеся 10-го класса «а» 20-й школы Фрунзенского района Москвы. Их мнение приводит в «Советском кино» Е. Семенов. Прочитай!

— Прочти.

— Слушай: «Мелкие и ничтожные заботы у Лебедева, который выступает против Лебедева. По поводу чего он колеблется? Дать достойный отпор нахальным, развавшимся соседям или нет? Подойти и понравившейся девушке или подождать, чтобы это сделал приятель? И по тому, как легко преодолевают все лебедевские препятствия другие участники фильма, ясно, что эти препятствия лица эмеденного не стоят. А картина уговаривает меня умиляться его «гамлетовским» страданиям.

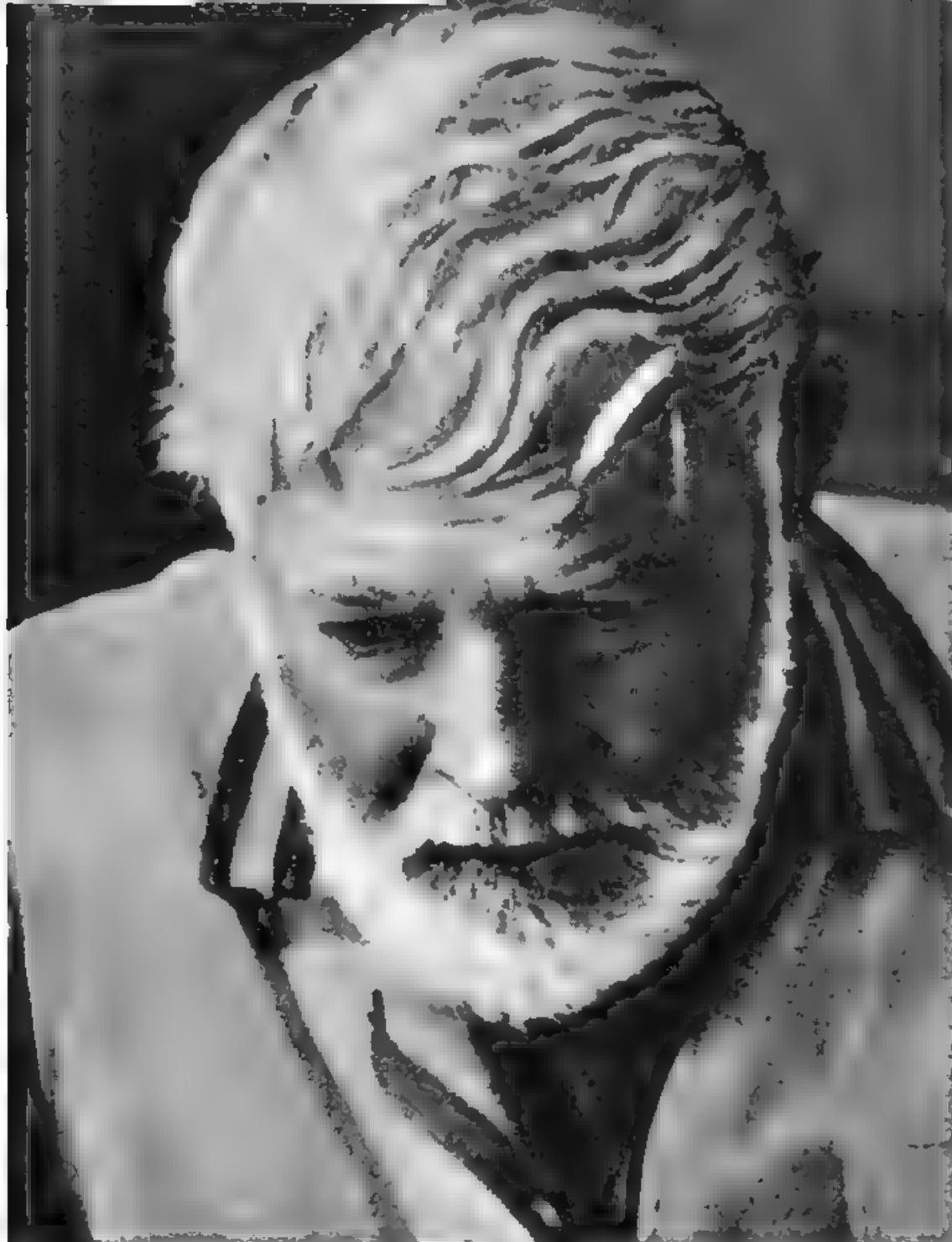
И вовсе ничего гамлетовского в этих колебаниях нет. Возмите у Смоктуновского — Гамлет очень решительный. А если он и колеблется, размышляет, так у него и было над чем думать».

— Крепко тебе от школьников досталось!

— Это у нас за критику не считался.

Вопросы искали... Лебедев подлил воротник и уныло побрел «домой».

И. ФЛОРИНСКИЙ



Совсем недавно впервые стала известна вся правда о последних днях и гибели Эрнеста Хемингуэя. Об этом после пятилетнего молчания рассказала жена писателя Мэри. Теперь появились записки американского журналиста А. Е. Хочнера, который в течение четырнадцати лет был близким другом Эрнеста Хемингуэя.

Воскресным утром 23 апреля 1961 года Мэри Хемингуэй позвонила мне в Нью-Йорк:

— Папа Хемингуэй в больнице Сан-Вэлли... День и ночь у постели медсестра... Когда я спускалась по нашей лестнице,— сказала Мэри,— а ты знаешь, что с нее видно ружейную пирамиду в нашем вестибюле, то я увидела около нее Папу. В одной руке он держал охотничье ружье, а в другой два патрона. Он увидел меня. Я шла к нему. Не спаша. Просто подошла к нему. И тогда я увидела записку. Она была адресована мне и торчала в ружейной подставке. Когда я подошла близко, Папа взял ее. Я хотела выхватить записку, но Папа не отдал. Я знала, что скоро должен прийти доктор Сэйверс, чтобы, как и ежедневно, измерить ему давление. И я попыталась отвлечь Папу, пока придет доктор.

— Каков он был с тобой?

— Очень спокоен. Ружья он не выпускал из рук, но патроны не вложил. Я посчитала за лучшее не обращать внимания на ружье и начать разговор. Я сказала ему, что если он не хочет дать мне записку, то пусть прочтает ее вслух. Она адресована мне, и я имею право знать ее содержание. В конце концов он развернул записку и прочитал мне несколько разрозненных фраз. Это было завещание. Я не должна иметь забот, он обо мне позаботился и перевел на мой счет в банке 30 тысяч долларов. Наконец пришел доктор Сэйверс. Когда я услышала, как подъехала и остановилась его машина, я пережила еще один ужасный момент: Папа сделает это теперь! Ведь ружье и патроны все еще были у него в руках, и кто знает... Но вот доктор вошел, поговорил с ним, взял у него ружье, и Папа это позволил.

Я спросил Мэри:

— Ты догадывалась, что Папа замысливает что-то такое?

— Нет. Ты знаешь, он не раз об этом говорил: застрелиться и разом покончить со всем. Однако все думали, что он говорит так, чтобы выпустить лишний пар. Конечно, перед этим он пережил ужасную депрессию. Это были дни самой глубокой депрессии, которые я пережи-

вала вместе с ним. Но все же никто не думал... Кто угодно, только не Папа!

В четыре часа пополудни мне позвонил доктор Жорж Сэйверс. Он был местным врачом в Катчуме, маленькой деревушке неподалеку от городка Сан-Вэлли. Эрнест Хемингуэй осел в Катчуме после того, как он оставил свой чудесный дом на Кубе. В Катчуме мы впервые стали относиться серьезно к недомоганию Папы — плохому самочувствию, депрессиям, проявлениям мании преследования. И Жорж Сэйверс, который был для него не только врачом, но и другом, помог тем, что убедил Эрнеста обратиться в клинику Майо.

Чтобы не привлекать внимания, Эрнест был записан в клинику под именем своего друга доктора Жоржа Сэйверса. Из этой клиники в Рочестере (штат Миннесота), которая слывет лучшей в мире, Папа (как его называли все друзья) вернулся в Катчум вполне бодрым. У него было желание писать, пить, охотиться, вообще желание жить. До упомянутого воскресного утра. Тогда Жорж Сэйверс посоветовал еще раз отправить его на лечение в клинику Майо.

Жорж Сэйверс сообщил мне по телефону, что он уже переговорил с врачами клиники Майо. Врачи, естественно, настаивали на том, чтобы Эрнест прибыл в клинику добровольно, но он отказался.

И тогда у Сэйверса вырвалось:

— Добровольно! Черт побери, но у него уже нет больше своей воли. О чем они говорят! Мы ведем борьбу против времени! Но у нас здесь, в Катчуме, нет никаких технических возможностей. И слушай, Хочнер: если мы немедленно не предпримем мер, то он что-нибудь сделает над собой! Если его оставить, то это только вопрос времени. Он говорит, что писать больше не может. И несколько дней не говорит ничего другого. Он говорит, что больше незачем жить. Хочнер, он никогда больше не будет писать! Он не может. Он безнадежно болен. В этом причина. Поэтому он хочет подвести черту. Только что я сделал ему укол содиумамагния. Но сколько я могу продержат его в этом состоянии! Должен тебе сказать, что это ужасная ответственность для

простого сельского врача. Он же не только мой друг. Он Эрнест Хемингуэй! Мы должны доставить его в Рочестер, в клинику Майо!

Весь вечер шли телефонные разговоры между Нью-Йорком, Кетчумом и Рочестером. Но врачи клиники Майо отказывались лететь в Кетчум. Они настаивали на том, чтобы пациент направился в клинику добровольно.

На следующий день мне позвонила Мэри Хемингуэй. Она была потрясена. Доктору Сайверсу удалось наконец убедить Эрнеста, что для него лучше всего вернуться в клинику Майо. Эрнест согласился. Был заказан небольшой самолет. Но незадолго до отлета Эрнест заявил, что он должен взять еще кое-какие вещи из дому. Жорж сказал, что Мэри принесет эти вещи. Эрнест настоял на том, что он сам должен это сделать. А без этих вещей он вообще не полетит в Рочестер. Жорж вынужден был согласиться, но позвал соседа Дона Андерсона, человека высокого роста и крепкого телосложения...

К дому пошли все пятеро. За Эрнестом шли Дон Андерсон, медицинская сестра, Мэри и Жорж. Неожиданно Хемингуэй рванул дверь на себя, захлопнул ее и закрыл на задвижку. Дон Андерсон бросился на другую сторону дома, к другой двери, влетел в вестибюль и застал Хемингуэя около пирамиды. Дрожащими пальцами он заряжал ружье. Дон Андерсон бросился на Эрнеста и сбил его на пол. Завязался отчаянный поединок за ружье. Пришлось вмешаться Жоржу. Дело кончилось тем, что Хемингуэй опять попал в госпиталь Сан-Вэлла.

Наутро — это был вторник 25 апреля — Мэри позвонила мне опять. Хемингуэй согласился отправиться в клинику Майо, и самолет только что вылетел в Рочестер. С Эрнестом полетели Жорж и Дон Андерсон. Мэри держалась с трудом. Она обещала, что доктор Жорж Сайверс позвонит мне, как только вернется.

Жорж позвонил только в полночь. Как сообщил Жорж, перед вылетом самолета он дал Хемингуэю сильнодействующее успокаивающее средство... Но едва машина легла на курс, как Эрнест неожиданным рывком бросился к двери самолета, пытаясь открыть ее и выбраться из самолета. С большим трудом удалось Жоржу и Дону оттащить его от двери. Жорж Сайверс сделал Эрнесту укол салициламидала, и он впал в забытие.

Из-за неполадок самолет произвел промежуточную посадку в Кэспере (штат Вайоминг)... Ремонт самолета длился несколько часов. Хемингуэй был спокоен, и трио вновь отправилось в путь. Около часа он казался спящим. Но когда самолет был над Южной Дакотой, он попытался выпрыгнуть из самолета.

Машина приземлилась в Рочестере. Врачи из госпиталя Майо уже ждали их. Хемингуэй имел вполне послушный вид. Он приветствовал врачей, как старых друзей, и они повели его в больницу. Там поместили его в отделение особого обеспечения и наблюдали за ним постоянно, день и ночь. Это было начало мая.

В конце июня Мэри Хемингуэй дала мне знать, что врачи клиники Майо пожелали отпустить Эрнеста Хемингуэя домой. Они даже настаивали на этом. Врачи уже сообщили Хемингуэю, что он может возвращаться домой.

Мэри наняла машину, и один общий друг, Жорж Браун, вылетел из Нью-Йорка в Рочестер, чтобы сесть за руль. Во время трехдневной поездки через северные штаты в Кетчум у Эрнеста было хорошее настроение. Казалось, что он наконец опять может испытывать радость. Первый вечер у себя дома супруги Хемингуэй отпраздновали за уютным ужином, и Эрнест даже подпевал, когда Мэри запела свою любимую песенку.

Рано утром на следующий день — так позднее заявила прессе Мэри Хемингуэй — в доме грохнул ружейный выстрел. Она сбегала с лестницы. Эрнест чистил ружье — так заявила она, — случайно сделал роковой выстрел и убил себя.

Я не мог упрекнуть Мэри. Несмотря на все злосчастные события последних месяцев, она не была готова к тому, что произошло. И поэтому, когда от нее потребовали разъяснений, она не могла ответить ничего другого. Что значит правда в такой ситуации? Может ли правда что-нибудь поправить? Или смягчить страдания?

Я вспомнил, как один немецкий журналист спросил Хемингуэя: «Господин Хемингуэй, как вы относитесь к смерти?»

Эрнест ответил: «Смерть тоже всего лишь потаскуха».

И я вспомнил еще мой последний разговор с Эрнестом Хемингуэем в Рочестере.

Из больничного городка мы поехали на машине в лес. Мы поставили машину и шли по тропинке между деревьями. Небо было безоблачным, в благоухающей воздухе пели птицы. Хемингуэй ничего не замечал. Он представил мне полный каталог своих страданий.

Первая жалоба на свою бедность, потом обвинения против банка, адвоката и врача, которым он доверял когда-то.

Сначала я думал: пусть выговорится. Может быть, ему будет легче, когда он с души снимет камень. Но когда он стал ходить взад-вперед с глазами, устремленными в землю, лицом, искаженным от переживания обид, во мне стало подниматься что-то вроде гнева. Я подошел к нему, заставил поднять голову и поглядеть вокруг: «Папа, смотри! весна!»

Он бросил на меня пустой взгляд, его глаза, казалось, были в тумане.

— Мы опять пропустили весенние скачки! — Я искал опору в самом реальном из нашей жизни. Пытался вытянуть его в наш мир. — Мы опять пропустили скачки, Папа!

Его глаза задрожали. Он пошевелил руками в карманах.

— И мы все будем их пропускать, пропускать, пропускать...

— Почему? Почему бы не попробовать осенью? Кто знает, не придет ли наша счастливая лошадка Бэтклэп! — Я цеплялся за наши лучшие воспоминания.

— Не будет больше никакой весны...

— Уж будто бы! Я гарантирую тебе...

— И никакой осени не будет больше...

Он подошел к остаткам каменной стены и присел на них. Я стоял перед ним. Я чувствовал, что сейчас он все скажет. И я спросил:

— Папа, зачем ты хочешь убить себя?

Он помедлил немного, а потом сказал в своей старой манере говорить хорошо продуманное:

— Как ты думаешь, что происходит с человеком, которому шестьдесят второй и которому становится ясно, что он не может написать обещанные книги и что он вообще не может ничего сделать из того, что он сам себе обещал в лучшие дни?

— Почему бы тебе вообще не бросить писать? Не уйти на покой? Ты, слава богу, это заслужил.

— И что делать дальше?

— Все, что ты любишь, что тебе доставляет удовольствие. Однажды ты рассказывал о лодке, которая должна быть достаточно большой, чтобы можно было под парусами проплыть вокруг света и порывачить там, где ты еще не пробовал. Или твой план о зверином заповеднике в Кении? Потом ты говорил об охоте на тигров в Индии. Ты хотел заняться выведением породистых быков. На свете чертовски много всяких вещей...

— Мне отступит? Куда и как, черт побери, может отступить писатель? Чемпионы по боксу или по бегу, поставившие рекорды в свои лучшие дни, когда сходят, аешают на гвоздик свои перчатки или ботинки...

— У тебя несколько хороших книг на полке...

— Да, конечно. У меня есть шесть стоящих книг. Но, в отличие от чемпиона по боксу, по бегу или матадора, как может уйти писатель на покой? Никому нет дела, что он болен или утратил свежесть впечатлений. Куда бы он ни пошел, повсюду он слышит тот же самый проклятый вопрос: «Над чем вы работаете теперь?»

— Из-за этого мучиться! Ты же никогда не поддавался подобным фальшивым мерилам. Почему ты не позволяешь нам помочь тебе? Мэри поедет с тобой повсюду, куда ты захочешь, сделает все, что ты пожелаешь. Она страдает.

— Мэри чудесная. Всегда была и теперь остается. Она была так чертовски смелая и добра. Она — это все, что может еще принести радость. Я люблю ее. Я действительно люблю ее.

Закипевшие слезы не дали мне продолжать разговор. Эрнест не смотрел на меня.

— Помнишь, — сказал он, — я сказал тебе однажды, что ей неведомо боль другого человека. Я ошибался. Она чувствует, чувствует, как мне больно, и страдает, когда пытается помочь мне. Я бы очень желал избавить ее от этого. Послушай, Хочнер, что бы ни произошло, что бы ни случилось... Она добрая и сильная, но знай, что даже самые сильные женщины иногда нуждаются в помощи...

Я больше не мог. Я отошел в сторону. Он приблизился ко мне опять и положил руку на плечо.

— Бедный старый Хоч, — сказал он. — Поверь, я чертовски сожалею. Сильная дрожь прошла по его исхудавшему, старому, но еще полному жизни телу, на мгновение он поднял руку к глазам и пошел по тропе через лес к машине. На пути в больницу мы не проронили ни слова. Я провел еще несколько часов в его комнате. Он был мил, но сдержан. Мы говорили о книгах и спорте, но ни о чем личном. Потом он уехал в Миннеаполис, и я его больше не увидел...

Перевод Л. Степанов.

А ДАЛЬШЕ ЧТО?

Сало ФЛОР,
международный
гроссмейстер.

Первую, причем победоносную, атаку в матче Т. Петросян — В. Спасский провели фоторепортеры. В течение десяти минут они работали всею. Подобный штурм еще совсем недавно не мог иметь места. Михаил Ботвинник разрешал съемку лишь в течение одной-двух минут, и то желательнее после игры. Первый спектакль без Ботвинника! Пять лавровых венков чемпиона мира — это уже история. Матчем Т. Петросян — В. Спасский начинается новая эпоха: встречаются два гроссмейстера, родившиеся после Великой Октябрьской революции.

Шахматисты — народ не очень суеверный, однако, если учесть, что в 13 матчах на первенство мира победителем стал тот, который выиграл первую партию, невольно станешь пропалывать бдительность с первого хода, с первой партии.

Эта партия была уж не так скучна, как многим казалось. Был даже очень опасный момент у ворот Спасского. Но, на его счастье, чемпион мира упустил возможность наказать претендента за один легкомысленный ход.

— Много шума из ничего, — раздавались голоса у выхода из театра. — Пустили бы на сцену нашего шахматного Д'Артаньяна — Тала, сразу было бы веселее!

С явным преимуществом Петросян протекли вторая и третья партии. В обеих чемпион мира не сумел реализовать лишнюю пешку. В пресс-бюро Бориса Спасского честили во весь голос, а в зрительном зале — шепотом (там мешает электрическая сигнализация: «Соблюдайте тишину!») за его непонятную тактику. Разве можно давать в руки Петросяну такие простые позиции?

Я обратился к первой скрипке в пресс-бюро — Талю — с вопросом: «Минш, что делает ваш друг Боря, что он думает?» Экс-чемпион мира со свойственным ему юмором ответил: «Боря явно перепутал партнера. Он все еще думает, что играет... со мной».

Но Бориса не только ругали. Его все же и хвалили за спокойствие, хладнокровие и искусство защиты, что спасло его уже дважды. Похоже на то, что фортуна очень благожелательно относится к претенденту. Но строить свою тактику лишь на хороших контактах с фортуной все же не следует в матче на первенство мира.

А дальше что? В. Корчной предсказал, что ничьях будет 16. А может быть, еще больше? Шансы сторон равны, считали многие. Так и есть: Т. Петросяну так же трудно победить В. Спасского, как Спасскому — Петросяна. Это и доказала еще раз четвертая партия. В первой ее части и осложнении стремился чемпион мира, во второй — претендент, а исход все тот же — ничья.

М. Ботвинник считает, что, пока В. Спасский не проиграл партию, острый бой в матче не будет. Это тоже верно. Ботвинник, вероятно, имеет в виду, что Спасский с Кересом и Талем неудачно стартовал, но затем ужасно расслабился!

Т. Петросян, несомненно, отлично подготовлен, или, как говорится в нашем вене техники, «запрограммирован». Ничего трудностей в дебюте он не испытывает, но в шахматной партии после дебюта следует миттельшпиль и эндшпиль, и в этих стадиях Спасский является абсолютно равным соперником.

Разгром в этом матче не будет. Будет упорная борьба в апреле, а еще и даже еще в июне. Одним словом, мачого зазвонит ни Т. Петросяну, ни В. Спасскому. Сложная, трудная у них весна!

20 апреля.

Снимки сделаны корреспондентами ЮПИ в Давосе на чемпионате мира 1966 года.



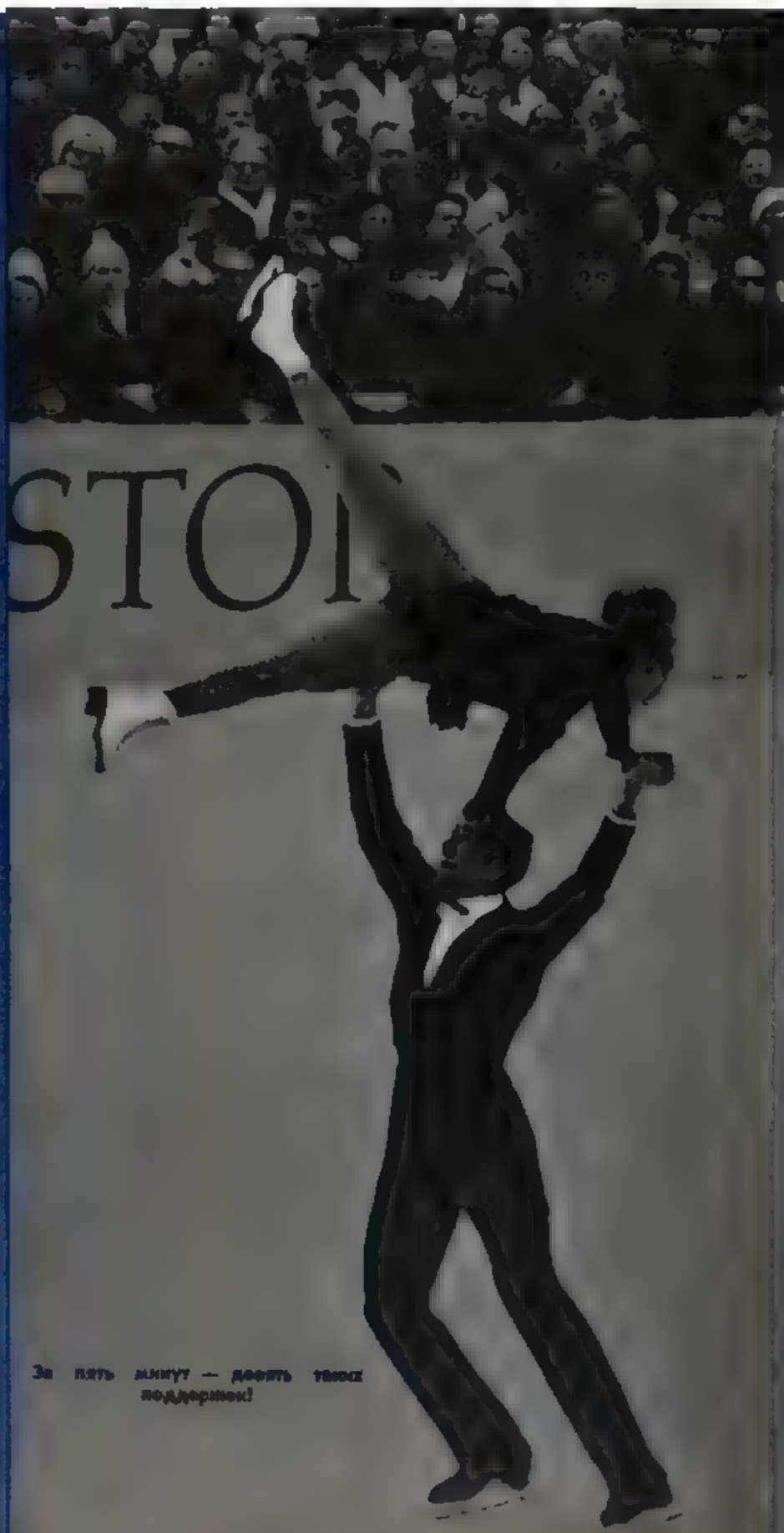
Александр КУЛЕШОВ

Имя Жук в мире фигурного катания давно известно. С Жуками связаны первые серьезные победы советских фигуристов на международной арене. Теперь мы к этим победам привыкли, но было время...

Когда я говорю «фигуристы», то имею в виду, разумеется, пары. Потому что по каким-то непонятным причинам советские фигуристы, имеющие легкомыслие на объединяться в пары, с железной твердостью и завидным постоянством занимают на всех международных соревнованиях последние места.

В стране, где лучший в мире балет, казалось бы, должны быть прекрасные фигуристы. И они есть — пары. Но те же вроде бы люди, питомцы той же, советской школы фигурного катания, воспитанные на тех же традици-

серебряная пара



За пять минут — десять тысяч поддошек!

из, стоит им выступить в одиночку, ничего не могут сделать. Просто уму непостижимо!

Впрочем, эти строки не научно-методическая статья, а очерк, и не о фигуристах вообще, а лишь о двух из них: Татьяне Жук и Саше Горелике.

Я начал очерк с упоминания фамилии Жук. Это не случайно: Нина и Станислав Жук были первыми советскими фигуристами, взошедшими на пьедестал почета чемпионата Европы в 1958 году. И они еще дважды повторили этот успех. А потом на смену им пришли Белоусова и Протопопов, тоже муж и жена. Их прозвали «вечно вторыми», «серебряной парой». Они дважды занимали второе место на первенствах Европы и дважды на первенствах мира. Вначале это было очень почетно. Потом привычно. Наконец, обидно. И

и уже в пятнадцать Таня стала чемпионкой страны в парном катании вместе с Александром, но не Гореликом, а Газриловым. С ним же Таня еще не раз добивалась успеха: в 1963 году она вместе со своим партнером занимала третье место на первенстве Европы и мира, в 1964-м — снова третье на первенстве Европы...

А как же Саша Горелик? Кто привел его на лед? Он сам явился в Центральную спортивную школу молодежи в Сокольниках и заявил, что хочет «как это... ну... фигуры делать». Десятилетнему мальчику повезло: ему встретились Е. В. Васильева, педагог опытный и проникательный.

И через пять лет с Татьяной, но не Жук, а Шарановой Саша Горелик начал выступать в больших соревнованиях. В 1962 году эта молодая пара оказалась третьей на

расстаются тогда, когда в своем спортивном самовыражении оба партнера — как бы один человек. Как Нина и Станислав Жук, как Людмила Белоусова и Олег Протопопов, как теперь Татьяна Жук и Александр Горелик.

Саша и Таня однажды попробовали потренироваться вместе. Получилось отлично. Это заметили они, а уж тем более на это обратил внимание такой тренер, как Станислав Жук. В конце концов он посоветовал им выступать вместе. И, как мы теперь знаем, Станислав Жук оказался прав. Нужны доказательства? Извольте.

Как я уже говорил, новая пара появилась в мае 1964 года, в новом сезоне Татьяна и Александр стали уже бронзовыми медалистами первенства Европы и мира, а в нынешнем году — серебрянными. И не просто серебрянными. В Давосе из девяти судей четверо признали их победителями. Лишь на единицу отстали они в сумме мест от своих прославленных старших товарищей! Это ли не заветная мечта для пары, катающейся вместе меньше двух лет! А ведь, кроме фигурного катания, у Тани Жук и Саши Горелика хватает дел.

Он занимается на третьем курсе института физкультуры; она — на первом курсе института иностранных языков. И теперь у Тани появились и семейные обязанности: в декабре 1965 года была отпразднована свадьба фигуристки Тани Жук и футболиста Альберта Шестернева.

Вот и получилось, что молодой супруг зашил в Давос из Чили, а в июле Таня будет заходить из Москвы в Лондон. (Таня, конечно, трудней: она несет половину ответственности за выступление своей «команды», а Альберт — всего лишь одну одиннадцатую.)

Мы видим на льду улыбающуюся пару, которая с удивительной легкостью и непринужденностью вычерчивает сложнейшие узоры; но мы, конечно, не так уж наивны и понимаем, что за этим стоит.

Судите сами. За время произвольного выступления, длящегося пять минут, Таня и Саша выполняют четыре прыжка, девять подержек, один тодес, одно совместное вращение и один прыжок во вращении. Итого 16 фигур, не считая подходов к ним, поз, комбинаций шагов и других передвижений.

Готовясь к выступлению в Давосе, Таня и Саша тренировались 2—2,5 часа в день, что явно недостаточно. Но фигуристов у нас много, а лед в Москве — дело дефицитное, это тебе не мороженое. Впрочем, в последнее время благодаря заботам московской федерации молодая пара могла тренироваться по 4 часа.

Между прочим, по мнению Саши, скромные успехи наших фигуристов-одиночников объясняются тем, что они недостаточно тренируют обязательную программу. Чемпионка мира Петти Флеминг рассказывала, что только по обязательной программе тренируется 7 часов в день. Как известно, Алан Жилетти занимался еще больше.

— Как рождается произвольная программа?

Берется музыка. Что значит берется? Оказывается, это значит, что тренеры и фигуристы прослушивают сотни музыкальных отрывков (между прочим, Таня и Саша вместе с тренером часто бывают на концертах). После спо-

ров, обсуждений, размышлений происходит выбор музыки. Для последней своей программы, например, они взяли музыку Тома и Шостаковича. Но музыка взята не просто — она перемешана в причудливой мозаике. И когда этот сложный процесс закончен, начинается подгонка элементов. К примеру, выясняется, что вместо семи шагов для подхода к этой фигуре требуется шесть и что вращение под этот музыкальный кусок должно длиться не 6, а 4 секунды. Так, прямо на льду, во время отработки программы, рождаются узлы, последовательность фигур, возникают находки. Чтобы отшлифовать часть комбинации, длящуюся 10—15 секунд, приходится долгие часы проводить на льду.

Наконец вся программа готова, вогнана в жесткие рамки времени. И тогда начинается ее отработка. Ее «катают» не сотни, а тысячи раз, шлифуя каждое движение, грабя каждую фигуру, как бриллиант. Проскользнул конек, нечисто приземление после прыжка, недостаточно плавно движение руки, нарушения синхронности — и все начинается сначала.

Вновь и вновь, до предельного автоматизма, отрабатывается каждое движение неделями, месяцами... И все это для того, чтобы за пять минут показать упражнения строгим судьям. Они не простят и малейшей ошибки, девять многоопытных судей видят все, и порой снижение оценки на одну десятую балла лишь одним судьей может превратить золото в серебро, серебро в бронзу, а бронзу — в сожаление о несбывшемся...

Поэтому ошибок не должно быть и программа выполняется автоматически. Автоматически, но с предельным вдохновением. Это как актер, неубоко заучивший роль, сотни раз сыгравший ее, каждый раз ведет себя на сцене по-новому.

И программа не одна. Есть еще и обязательная. И еще для показательных выступлений. В этом году Таня и Саша к первенству Европы в Братиславе подготовили для чешских зрителей программу под музыку Дворжана, а к первенству мира — лирический танец. А ведь надо уже готовить новую программу для первенства 1967 года: Европы — в Осло и мира — в Вене.

Таня и Саша хотят сделать свою новую программу еще более спортивной, сложной, темповой и в то же время более лиричной, с органическими, почти незамечными переходами. И допоздна, до глубокой ночи сидит Станислав Жук, прослушивая пленки и пластинки, набрасывая в блокноте контуры новой программы. А на следующий день собираются и думают все трое.

Идут тренировки. Зимой, летом, дома, за рубежом. Штанга, легкая атлетика, гимнастика, плавание, хоккей, ну и, конечно, катание, катание, катание...

Печать и специалисты высоко оценили выступления Тани Жук и Александра Горелика на первенстве мира. Серебряные медалисты «Татьяна Жук — Александр Горелик» писала «Вуз уариер», — разделили триумф Белоусовой и Протопопова, завоевав симпатии зрителей своей молодостью и динамизмом. Да, второе место на мировом первенстве — это большой успех.



— Таня, успевай, все хорошо!

еот в Инсбруке, на Олимпийских играх, «вечно вторыми» стали первыми. На первенстве Европы 1965 года они снова первые, на первенстве мира того же года в Колорадо-Спрингс наша пара опять первая. А в 1966 году в Братиславе и, наконец, в Давосе Л. Белоусова и О. Протопопов снова завоевали золотые медали.

Мастерство их настолько филигранно, настолько чудесно, что, следя за их выступлением на льду, забывавши о том, что годы идут и что в фигурном катании возраст за тридцать — солидный возраст. И все же думаю, что не ошибусь, предсказывая нашей «золотой паре» еще не один год столь же успешных выступлений. Но даже такой блестящей паре нужна смена, и не случайно после победы в Давосе Олег Протопопов высоко оценил искусство Т. Жук и А. Горелика.

Как уже говорилось, этот очерк о нашей молодой «серебряной паре». Как пришли Таня Жук и Саша Горелик к своему успеху? Ну, Таня — понытню. Конечно, сестринка знаменитого фигуриста Станислава Жука занялась фигурным катанием. Ей было тогда семь лет,

первенстве страны, в 1964 году — второй, а том же году — седьмой на первенстве Европы и... последней на первенстве мира.

С мая 1964 года Александр Горелик катается с Татьяной Жук.

Интересный вопрос: как возникают и распадаются в фигурном катании пары? Вот катаются двое несколько лет, чего-то достигают, а потом вдруг расходятся, находят себе новых партнеров, и вдруг их мастерство вспыхивает новым блеском.

Я спрашивал у Тани и у Саши: почему они расстались с прежними своими партнерами — может быть, поссорились? Нет. Так складывалось. Они остались хорошими друзьями. С их точки зрения, неправильно, как это делают некоторые, усматривать в такой разлуке чью-то трагедию. Просто в какой-то момент становится ясно, что дальнейшая совместная работа будет тормозом. Почему? Ну, это не так-то легко объяснить у каждого свой характер, манера, вкус, склонности, особенности, которые проявляются все ярче. Вначале удается находить компромиссы, а потом это получается все труднее. И тогда расстаются. И не

Забавные Мелочи

ЗНАКОМСТВО С АВИАЦИЕЙ

Мы были очень удивлены, увидев на летном поле Внуковского аэропорта лес. Не боясь шума винтов запускаемых двигателей, он от рулевой дорожки Внуково-II прошел на стоянку вертолетов, где был радушно встречен авиаторами. Затем лес направился к зданию аэровокзала, проществовал по перрону и ушел знакомиться с окрестностями Внукова.

Ю. УШМАРОВ,
авиатехник аэропорта



СПЕЦИАЛЬНАЯ АПРОБАЦИЯ

Во время открытия воздушной подъемной дороги на одном французском горнолыжном курорте акробаты показали свое искусство на трапезии, прикрепленной к движущейся кабине.



СТРАН ЛЕСА

Оригинально распорядилась природа, наделив этот ствол дерева, который я сфотографировал в лесу под Киевом, двумя надвешивающимися глазами.

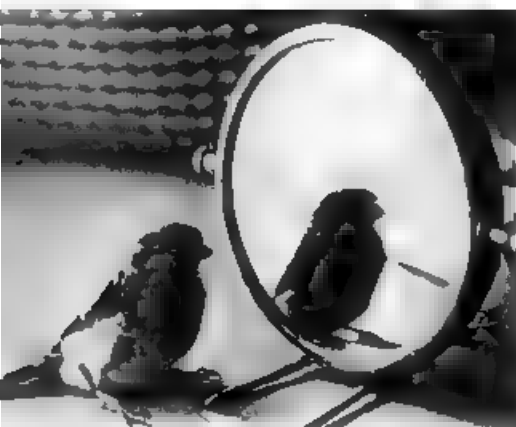
Ю. ОРОВЕЦКИЙ

Киев.



МАРИНКА

У пражанки Марии Топляковой живет мадьярский калгуренок Филиппа, родившийся в Австралии. В просторном кармане, сделанном на платье хозяйки, Филиппа чувствует себя как в родительской сумке.



ВОРОБЕЙ И ЗЕРКАЛО

Спасаясь от стужи, воробушек влетел через форточку в комнату. Вначале он вел себя беспомощно: ведь случно коротать время одному. И тут на выручку пришло зеркало. Увидев в нем свое отражение, наш пернатый гость успокоился.

А. БАЛЮК

Поселок Октябрьский,
Калужинской области.

ЖДУ САМОГО СЕБЯ

Лео КЕРГЕ

(Трагическая сценка в одном бездействии)

Действующие лица

Лустверк — гражданин которому нужна подпись.
Эберлейн — гражданин, не имеющий права подписи.

На сцене — столы, стулья, графин с водой. Огромный шкаф с папками и заявлениями граждан. Входит Лустверк с заявлением в руках. Подходит к сидящему за столом Эберлейну.

ЛУСТВЕРК. Требуется резолюция. Прошу подписать...

ЭБЕРЛЕЙН (не обращая внимания на посетителя и его бумагу). Поздно пришли... Рабочий день кончается...

ЛУСТВЕРК. Я приходил утром... Вы сказали тогда, что рабочий день еще не начался. Велели ждать поздно.

ЭБЕРЛЕЙН. Позже — не значит к концу дня. Если подойти к этому вопросу с философской точки зрения...

ЛУСТВЕРК. Подходите, как хотите, только наложите резолюцию.

ЭБЕРЛЕЙН (разводит беспомощно руками).

ЛУСТВЕРК. Поймите, я прихожу к вам сегодня на первый раз... В рабочее время...

ЭБЕРЛЕЙН. Вот то-то и плохо, что в рабочее время. Существует общее положение...

ЛУСТВЕРК. Знаю, знаю. Но что делать, к вам можно пойавить только в рабочее время. Короче, вы наложите резолюцию?

ЭБЕРЛЕЙН. Почему нет? Могу. Но моя подпись недействительна. Право подписи на документах только у товарища Кристенпрунта. И печать у него.

ЛУСТВЕРК. Кристенпрунт так Кристенпрунт. Доложите ему о моей просьбе: пусть подпишет.

ЭБЕРЛЕЙН. Товарища Кристенпрунта сейчас нет: он ушел в аптеку.

ЛУСТВЕРК. В рабочее время в аптеку?

ЭБЕРЛЕЙН. Ничего не поделаешь: зубная боль ни с чем не считается.

ЛУСТВЕРК. Ладно, я готов его подождать.

ЭБЕРЛЕЙН. Ждите. Никто вам не запрещает. У вас вся жизнь вперед.

ЛУСТВЕРК. Что вы хотите этим сказать?

ЭБЕРЛЕЙН. А то, что товарищ Кристенпрунт второй час ждет аптекаря. Он мне только что звонил: аптекарь ушел в ателье на примерку.

ЛУСТВЕРК. На примерку? В рабочее время?

ЭБЕРЛЕЙН. Что поделаешь, если закройщик работает в первую смену.

ЛУСТВЕРК. Ничего, я подожду. На вечность же мне ждать. Товарищ Кристенпрунт появится, как только вернется аптекарь, а тот придет в аптеку, как только закройщик закончит примерку. Сколько может продолжаться примерка?

ЭБЕРЛЕЙН. Не знаю. Мне известно одно: закройщик еще и не начал примерки — он ушел в контору ЖЭКа и ждет домоуправа.

ЛУСТВЕРК. А домоуправ, скажете, ушел в Совет Министров?

ЭБЕРЛЕЙН. Зачем в Совет Министров? Он сейчас сидит в поликлинике и дожидается своей очереди к врачу.

ЛУСТВЕРК (стонет и выпивает залпом всю воду из графина).

ЭБЕРЛЕЙН. А вы не волнуйтесь... Я сейчас уточню... (Звонит по телефону.) Алло, поликлиника? Скажите, пожалуйста, врач начал прием?

Что? Он еще и не начинал? Что вы говорите? С утра еще не приходил? Ушел, говорит, за какой-то не то справкой, не то какой-то резолюцией?

А куда, позвольте узнать, ушел? Спасибо... (Кладет трубку.)

ЛУСТВЕРК. Что-о-о? В рабочее время? Когда у него назначен прием?

ЭБЕРЛЕЙН. А вы не волнуйтесь! Я знаю, куда ушел врач. Начальник там человек оперативный: наложит резолюцию и подпишет «Лустверк».

Рад, даа — и готово!

ЛУСТВЕРК. Что за неуместные шутки? Какой Лустверк?

ЭБЕРЛЕЙН. А я и не думаю шутить. Лустверк — это начальник, которого дожидается врач. Что, вы его знаете?

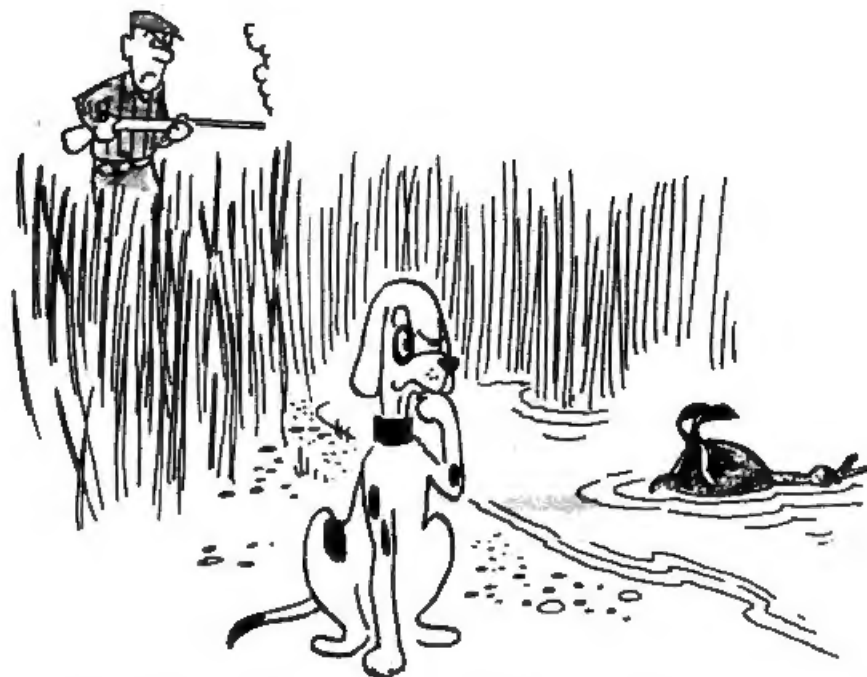
ЛУСТВЕРК. Как же мне его не знать? Лустверк — это я сам... Как же это так? Я жду товарища Кристенпрунта, Кристенпрунт ждет аптекаря, аптекарь — закройщика, закройщик — домоуправа, домоуправ ждет врача, а врач дожидается меня. Выходит, я вот уже сколько часов жду самого себя.

ЭБЕРЛЕЙН. Ну и народ пошел слабонервный! Чуть что, и уже с ума сходит... А главное, когда? В рабочее время!

Занавес.

Перевод с эстонского.

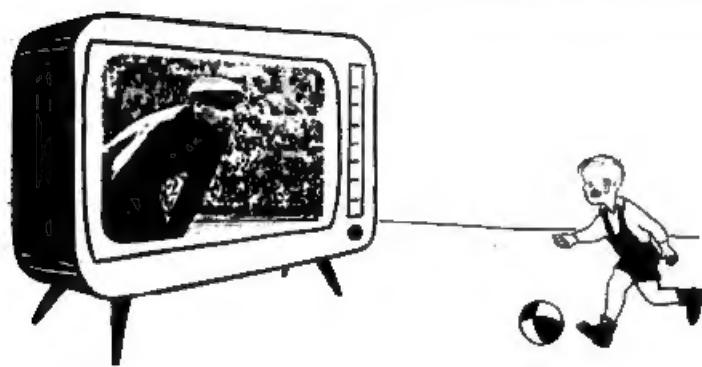




— Проклятый склероз! Опять забыл, за чем меня послали!
Рисунок Б. Боссарта.

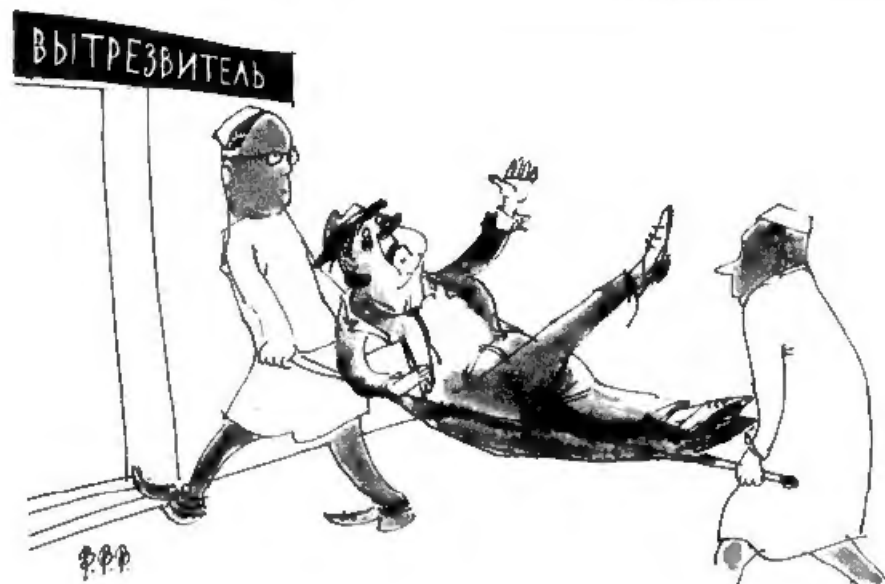
— Ну, Яшми, держись!

Рисунок Н. Елинсона.



— Опять мама где-то узнала новый рецепт выведения пещушек.
Рисунок Б. Боссадина.

— Братцы, дегустатор я! Была у меня сегодня сверхурочная работа!



ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ

Януш ОСЕНКА

(Монолог секретарши)

— Алло! Кто говорит? Пан директор занят. Да, я слушаю. Школьный товарищ? Завистовский? Сейчас проверю. У меня здесь список всех школьных товарищей пана директора. Четвертый класс «Б»? А, конечно... Четвертый «Б». Правильно. Завистовский. Это вы дали пану директору прозвище «Кочан», хотя пану директору это страшно не нравилось? А еще вы засунули пану директору крапиву в спортивные трусы во время урока физкультуры. Когда же пан директор справедливо пожаловался учителю, вы назвали пана директора доносчиком и обещали сделать из его носа котлету и слово свое сдержали. Слушаю вас. Шутки? Может быть, однако, увы, пан директор очень занят. В будущем у него там же не будет времени. До свидания. (Кладет трубку) вновь раздастся телефонный звонок.)

Слушаю. Говорит секретарь директора Ковальского... Кто говорит? Пан Слупчан? Директор очень занят. С вами обязательно поговорит? Ах, вы школьный товарищ пана директора? Да,

действительно, припоминаю. Слупчак, седьмой класс «Б». Одну минутку, я кое-что проверю. А, да, вы были лучшим учеником по математике... Ну, ясно, бывают люди с такими способностями... Это вы отказали пану директору в шпаргалке на экзамене, из-за чего директор перепутал логарифмы с извлечением корня и остался на второй год... Да, я признаю, что это забавно, наверняка пан директор не прочь с вами пообщаться и вспомнить прошедшие годы, но, к несчастью, пан директор абсолютно не располагает временем. И нет никаких признаков, что он когда-нибудь его выкроит для вас. Всего доброго! (Кладет трубку. Звонит телефон.)

Алло! У телефона секретаря. Кто говорит? Пан Гловач? Директор занят. Пан директор был вашим учеником? Когда? В пятом классе? Минутку... Это вас ученики называли «Цветная капуста»? Ну, прозвище как прозвище... Вы, например, привыкли называть пана директора «нерасторопный придурок» или «дубина стоекосовая»... Конечно, это ста-

рые истории... Вы такие говорили, что пан директор напрасно занимает место в классе, которое надлежит занять какому-нибудь нормальному, развитому ребенку, упоминая при этом, что это обычная школа, а не заведение для слаборазвитых... Да, двойня во второй четверти была сильным потрясением для пана директора... Нет, нет, пан директор, увы, занят и на ближайшие годы будет перегружен работой. Прошу вас, повесьте трубку, так как у меня междугородный разговор. До свидания.

Алло! Междугородная? Бяла Подласка? Да, слушаю... Кто? Словиневич? Ведь я уже столько раз говорила вам, что у пана директора нет времени... Исключено? Что? Разве это не вы столкнули в пруд пана директора во время лекции о размножении лягушек? А кто? Гомбчевский? Как вы можете сваливать ответственность на коллегу? Разве так поступает порядочный ученик? Нет, пан Словиневич, вы сами столкнули, сказав еще притом, что это полезно пану директору, так как он никогда не моется... Что? Это то-

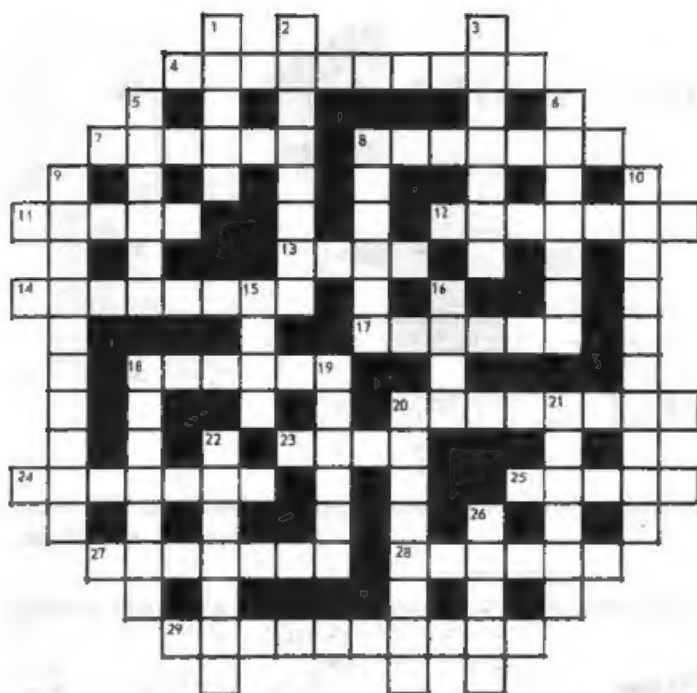
же говорил Гомбчевский? Вы усугубляете вину школьного товарища... Что, простите? Вы дали пану директору списывать контрольную на польском? Как вы смеете! Пан директор никогда не списывал! Нахальство! До свидания! (Кладет трубку. Звонит телефон.)

Слушаю. Да, пан директор, понимаю. Позвоните председателю Гомбчевскому и просите, чтобы он нашел время и согласился принять вас... Понимаю. Да, да, школьный товарищ. Сию минутку. (Набирает номер.)

Алло! Я имею удовольствие говорить с секретарем председателя Гомбчевского? Я говорю по поручению директора Ковальского... Директор просит пана председателя принять его... Он очень занят! Но он наверняка найдет время. Директор — школьный товарищ председателя... Слушаю... Хорошо, я подожду. Да, да, четвертый класс «А». Да, такой невысокий... Дубина стоекосовая? Кочан? Да, да, это пан директор. Ябеда? Да, но Слупчак сделал ему из носа котлету после урока физкультуры... Простите, что? Невероятно! Стало быть, это пан председатель столкнул пана директора в пруд на лекции о размножении лягушек? Превосходная шутка! Говорил, что это ему пойдет на пользу? Что он не моется? Очень забавно! Во вторник, в восемь? Конечно, пан директор будет рад!

Перевела с польского Н. Гаврилова.





КРОССВОРД

По горизонтали:

4. Курорт в Крыму. 7. Повесть Л. Н. Толстого. 8. Плотницкий инструмент. 11. Помещение на судне. 12. Птица. 13. Лошадь малорослой породы. 14. Плавающий агрегат тугоплавкого цеха. 17. Точное воспроизведение предмета, отлитое из гипса. 18. Шерстяная ткань с ворсом. 20. Живородящая рыба. 23. Озеро в Вологодской области. 24. Морской моллюск. 25. Вес товара без упаковки. 27. Французский писатель. 28. Участок земли. 29. Итальянский народный танец.

По вертикали:

1. Твердый минерал. 2. Парнокопытное животное. 3. Изображение из цветных камней. 5. Горняк. 6. Река в США. 8. Латвийский поэт и драматург. 9. Остров в Индийском океане. 10. Опера Ю. А. Шапорина. 15. Площадка для игры в теннис. 16. Состязания лошадей на ипподроме. 18. Аллея на городской улице. 19. Пушной зверек. 20. Созвездие северного полушария неба. 21. Узкая глубокая долина. 22. Венгерский композитор, автор оперетт. 26. Музыкальный инструмент.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, НАПЕЧАТАННЫЕ В № 16

По горизонтали:

4. Вакулер. 7. Ботаницизм. 10. Кромка. 12. Тополь. 14. Караташ. 18. Парана. 19. Пассаж. 20. Мериме. 21. Лансет. 22. Геснина. 25. Привал. 27. Павлов. 29. Аранжировка. 30. Гораций.

По вертикали:

1. Заставка. 2. Фуксия. 3. Леопард. 5. Софа. 8. Скот. 9. Соборный. 11. Домателло. 13. Крапива. 15. Овсянка. 16. Катет. 17. Ребус. 18. Такси. 19. Шпала. 23. Единогор. 24. Наборажи. 26. Лира. 27. Пине. 28. Чингиз.

На первой и последней страницах обложки — рисунок Ю. Черепанова.

Главный редактор — А. В. СОВРОНОВ.

Редакционная коллегия: И. В. ДОЛГОПОЛОВ (главный художник), Е. В. ИВАНОВ (заместитель главного редактора), Н. Н. КРУЖКОВ, Л. М. ЛЕРОВ, В. Д. НИКОЛАЕВ (ответственный секретарь), И. Ф. СТАДНИК (заместитель главного редактора), Л. Л. СТЕПАНОВ, Н. П. ТОЛЧЕНОВА.

Адрес редакции: Москва, А-15, Бумажный проезд, 14. Рукописи не возвращаются. Оформление А. НОВАЛЕВА.

Телефоны отделов редакции: Секретариата — Д 3-38-61; Отделы: Внутренней жизни — Д 3-37-61; Международный — Д 3-38-63; Искусства — Д 0-46-66; Литературы — Д 3-31-10; Информации — Д 3-32-45; Библиографии — Д 3-38-28; Науки и техники — Д 0-14-70; Юмора — Д 3-32-13; Спорт — Д 3-32-67; Фото — Д 3-39-04; Оформление — Д 3-38-36; Писем — Д 3-36-28; Литературных приложений — Д 3-30-39.

А 10585. Подписано к печати 20/IV 1986 г. Формат бум. 70 × 108 1/8. Печ. л. 6,0. Усл. печ. л. 7,0. Тираж 2 000 000. Изд. № 577. Заказ № 993.

Ордаца Ленина типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина. Москва, А-47, ул. «Правды», 24.



Дон Кихот Ламанчский.

ВЕЛИКИЙ РОМАН

350

лет тому назад умер Мигель де Сервантес Сааведра — автор романа «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский». Книга эта на протяжении нескольких веков пленяет человечество образом рыцаря, терпящего крушение своих идеалов в столкновении с жестокостью реальной жизни. Горький, подчеркивая

благородство Дон Кихота, защитника угнетенных, говорил о нем: «Человек этот всегда был готов пожертвовать своей жизнью ради счастья других». Маркс отмечал, что Сервантес видел в Дон Кихоте эпос вымершего рыцарства, «добродетели которого в то время что народившемся мире буржуазии сделались предметом насмешек и издевательств».

Дон Кихот храбр, великодушен, добр, честен, мечтателен, романтичен. Он вовсе не смешон, как не смешон и его верный спутник Санчо Панса — сын народа, сообразительный, умный человек, не раз спасавший своего господина в трудных житейских обстоятельствах.

Художники Кукрыники (М. Куприянов, П. Крылов и Н. Соколов), напряженно работая почти три года (1949—1952), иллюстрировали Дон Кихота Ламанчского. После Домье и Доре это было нелегкой задачей, но они блестяще с ней справились, сумев сохранить и традиционное представление о герое произведения М. Сервантеса и вместе с тем расширить и углубить понимание всего романа для нас, читающих его сквозь магический кристалл прошедших столетий.

Рассмотрите их, и перед вами воочию предстанет Дон Кихот — гуманист, страдалец, рыцарь без страха и упрека.



Дон Кихот и Росинант.



Ночь под деревом.



Дон Кихот приходит к Санчо Панса.



Санчо подгоняют на одеяле.



Санчо Панса.

Возвращение Дон Кихота.



Смерть Дон Кихота.



Цена номера 30 коп.
Индекс 70663